Маити Гиртаннер
(в соавторстве с Гийомом Табаром)

И у палачей есть душа

Москва
2017

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эта книга являет трудный путь к прощению, которое приходит к нам, если мы стремимся к нему всем сердцем. Только путем прощения наши семьи, наши страны, все человечество — смогут двигаться к миру. Маити Гиртаннер, юная, полная жизни девушка, талантливая пианистка, в 1942 г. во Франции присоединилась к подпольному движению Сопротивления, противостоявшему вторгшимся немецким захватчикам. Ее схватили, подвергли страшным пыткам, она выжила чудом, но последствия пыток лишили ее возможности продолжать музыкальную карьеру, создать семью. Всю жизнь она испытывала сильные боли, но это не сломило ее. Она была уже пожилым человеком, когда встретила своего мучителя и смогла простить его. Это очень глубокий, невероятный личный опыт. Эта книга — свидетельство о чуде прощения и любви. Мы не так много можем сделать на военном и политическом уровне, но то, что мы можем делать, — это любить тех, кто замкнулся в себе, кто отчужден от нас в семье, на работе и где бы то ни было, встречаться с ними и вместе входить в примирение и прощение.

- Маити Гиртаннер
  - ○
  - ○ Предисловие французских издателей
  - ○ Глава 1
  - ○ Глава 2
  - ○ Глава 3
  - ○ Глава 4
  - ○ Глава 5
  - ○ Глава 6
  - ○ Глава 7
  - ○ Эпилог
  - ○ Приложение
  - ○ О переводчике
  - ○ Иллюстрации
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5
  - ○ 6
  - ○ 7

- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26

Маити Гиртаннер (в соавторстве с Гийомом Табаром) И У ПАЛАЧЕЙ ЕСТЬ ДУША

Редакция благодарит переводчика Марию Валентиновну Шмаину за предоставленную возможность опубликовать книгу Маити Гиртаннер «И у палачей есть душа», перевод которой был сделан М. В. Шмаиной благотворительно задолго до нашей публикации.

Маити Гиртаннер
(в соавторстве с Гийомом Табаром)

И у палачей есть душа

Москва
МХК «ОСАННА»
2017

Предисловие к русскому изданию

Маити Гиртаннер прожила долгую жизнь, полную страданий и чуда. Красивая, полная жизни девушка, талантливая пианистка,

в 1942 году, совсем юной, присоединилась к движению Сопротивления, подпольно противостоявшему вторгшимся во Францию немецким захватчикам. Ее схватили, подвергли страшным пыткам, она выжила чудом, но последствия пыток лишили ее возможности продолжать музыкальную карьеру, создать семью. Всю жизнь она испытывала сильные боли, но это не сломило ее. На пути служения Богу, который она выбрала, сильнее всего ее мучил вопрос: как узнать, простила ли она тех, кто обрек ее на страшные страдания, простила ли она на самом деле? Как это можно проверить?

Она была уже пожилым человеком, когда встретила своего мучителя и смогла простить его. Это очень глубокий личный опыт, и она не думала рассказывать о нем, несколько лет носила его в себе, но близкие уговорили ее записать свою историю, потому что наш мир особенно нуждается в свидетельстве о невозможном по человеческим меркам, о невероятном прощении. Маити согласилась рассказать о своей жизни и об этой невозможной, но свершившейся встрече, о тайне милосердия. Эта книга — свидетельство о чуде прощения и любви.

Я очень рад, что теперь ее можно прочитать по-русски. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в подобных свидетельствах.

Сегодня мы живем в мире, полном страха и ненависти, гнева и мстительности, в мире, где рушатся отношения между отдельными людьми и целыми странами. Несмотря на страшный опыт двух мировых войн, нескольких геноцидов, наш мир снова и снова оказывается во власти войны и насилия. Отчужденные, одинокие, страдающие от одиночества в семье, на работе, в обществе в целом — мы нуждаемся во Встрече, в том, чтобы вновь учиться смотреть и видеть, слушать и слышать друг друга. Мы нуждаемся во встрече, которая сделала бы возможным не только диалог, но и осознание того, что мы — люди, потому что каждая встреча открывает нам другого и самого себя. Мы — человеческие существа, и мы должны строить не стены, а мосты, создавать возможность обретения счастья через примирение и прощение. Наш мир жаждет подобной встречи.

Но увы, мы, люди, часто предпочитаем силу слабости, часто стремимся показать, что мы лучше, могущественнее, стремимся причинять вред и отвергать других. Мы отвергаем слабость и уязвимость — из страха и черствости.

Маити Гиртаннер — пример непростой, почти невместимый: пример того, как можно всю жизнь стремиться к прощению, просить, но не ждать невозможной встречи; пример того, как можно жить надеждой на прощение и не знать, простил ли ты на самом деле, и как можно сохранить в сердце свободу и

уязвимость, позволившую ей впустить Бога, Владыку невозможного, в историю о страхе, пытках, боли и жестокости и дать Ему возможность исцелить раны, нанесенные ненавистью. Эта книга — свидетельство миру, потерявшему надежду, о том, что «невозможное человекам возможно Богу».

Жан Ванье[1]

Предисловие французских издателей

13 ноября 1996 года на французском телевидении состоялась передача «Ход века» («La marche du siècle»), посвященная теме «Смерть, ненависть, прощение». Среди приглашенных ведущим, Жаном-Мари Кавада, была Маити Гиртаннер. Ее свидетельство в тот вечер произвело громадное впечатление на тысячи людей.

С тех пор о Маити постоянно вспоминали. О ней писали статьи в самых известных французских изданиях, она участвовала во множестве теле- и радиопередач. Но эта книга — первая, где последовательно и подробно изложен ее необычный жизненный путь: путь девушки, случайно оказавшейся во французском Сопротивлении и к концу жизни получившей необыкновенный урок человечности.

Когда истории о прощении становятся известными, они всегда оказывают мощное воздействие. Можно вспомнить Ким Фук — маленькую вьетнамскую девочку, бегущую голышом, с лицом, полным боли и ужаса, среди других детей. Они спасались бегством из деревни, на которую по ошибке американская армия сбросила напалм. Фотография, здесь описанная, получила Пулитцеровскую премию и способствовала выводу американских войск из Вьетнама, она всем известна. Намного менее известно то, что за ней последовало. Ким выросла со страшными шрамами от ожогов. Через двадцать четыре года она стала послом доброй воли Юнеско, и однажды ей случилось свидетельствовать перед залом ветеранов войны во Вьетнаме. В конце выступления к ней подошел мужчина, это был офицер, который командовал той самой бомбардировкой. Они в слезах упали друг другу в объятия.

Если подумать о ком-нибудь, кто нам может быть более близким, сразу вспоминается Анни Магуайр. Та самая «тетя Анни», ставшая известной благодаря фильму Джима Шеридана «Во имя отца» (1994 г.) с Дэниелом Дэй-Льюисом в главной роли. Фильм основан на реальной истории о тех временах, когда ИРА[2] устраивала взрывы и убийства на английской земле. Анни обвинили в преступлении, которого она не совершала, и она провела в тюрьме четырнадцать лет, также как и ее муж и двое сыновей.

История это чудовищна еще и потому, что во время процесса Магуайров полиция задержала группировку ИРА, которая на самом деле организовала теракты, за которые судили Анни и ее

семью, то есть полиция знала, что подсудимые не виновны. После того, как ее реабилитировали, Анни постоянно свидетельствует о пережитом, а также о силе прощения. Однажды она говорила о прощении перед пораженными ее свидетельством молодыми английскими паломниками в Лурде[3].

Прощение удивительно тем, что может изменить ход Истории. Эта мысль сегодня витает в воздухе. Французская писательница и журналист Гийемет де Серинье выпустила 12 октября 2006 года книгу «Тысячи прощений. Настоящие истории. Вселенская необходимость»[4]. В этой книге, разумеется, есть и история Маити Гиртаннер.

«И у палачей есть душа» — книга, повествующая об универсальном опыте. Но это также и личное свидетельство, — эта книга написана от первого лица. Она поэтому, конечно же, не может считаться книгой по истории, она скорее предмет исторического осмысления. Изучая современную историю, нужно опрашивать свидетелей и таким образом сохранять память эпохи. Это особенно важно, когда свидетелей становится все меньше, они уходят. Свидетельство соучаствует в истории, которая пишется сегодня, историки очерчивают ее границы постольку, поскольку знают о ее значении.

Насколько это было возможно, но так, чтобы не нарушить законы жанра, мы постарались собрать доступную нам информацию, касающуюся истории, которая была подпольной, тайной по своей природе, и ее главной целью было… не оставить следов!

Как сотни других, таких же, как и она, Маити Гиртаннер вошла в Сопротивление более или менее случайно. Участника Сопротивления часто создавали обстоятельства: война с нацистами и поражение Франции, дом, стоящий прямо на демаркационной линии, граница (река Вьенна)… К этому добавились и другие факторы: гражданство (швейцарское), свободное знания языка оккупанта (немецкого), важность занятий музыкой…

Во время поисков информации мы натолкнулись на множество препятствий. Сразу после телепередачи 1996 года, в которой история Маити Гиртаннер впервые стала известна публике, большая ассоциация, объединяющая депортированных женщин из французского Сопротивления, подвергла серьезным сомнениям подлинность многих фактов.

То, что Маити так поздно заговорила о себе — через пятьдесят лет после событий, вызвало много вопросов не только у сторонних наблюдателей, но и у членов ее семьи, удивленных неожиданной известностью Маити. Хочется ответить

сомневающимся, что есть такие жизненные ситуации, о которых трудно кому-то рассказывать, вроде войны и пережитого насилия.

В поисках информации, подтверждающей рассказ Маити, мы также нашли свидетелей, в частности, одного из первых французских солдат, бежавших из немецкого лагеря военнопленных, которому Маити помогла перейти через демаркационную линию. В действительности история Маити как участницы Сопротивления совершенно обычна, необыкновенной ее делает встреча с палачом. Он попросил прощения, и ему оно было дано. Это прощение не отрицает тяжести нацистских преступлений, — в этом смысле Лео, о котором пойдет речь в этой книге, подлежит суду человеческой справедливости, — но это прощение в хаотической истории человечества открывает новое пространство свободы.

В этом смысле история Маити действительно необыкновенная, она укоренена в еще большей истории — в Евангелии, как и невероятные истории Ким Фук и Анни Магуайр.

Глава 1
В ту минуту я поняла, что я его простила [5]

— Я в Париже и хотел бы вас видеть.

Человек говорил по-немецки. Я сразу узнала голос. Шел 1984 год, а я слышала этот голос последний раз сорок лет назад, в феврале 1944-го, но никаких сомнений, это был он: Лео, немецкий врач из гестапо, державшего меня в заключении долгие месяцы во время Второй мировой войны. Его жестокое обращение почти убило меня, заключив тело в железную клетку боли, и до сего дня я остаюсь ее пленницей.

Лео в Париже. Мой палач у моих дверей. Чего он от меня хочет? Звук его голоса поразил меня и мгновенно оживил воспоминания о том, что мне казалось давно ушедшим в небытие. Мне показалось, что крыша обрушилась мне на голову. Я увидела себя восемнадцатилетней девушкой, которую обстоятельства привели в ряды Сопротивления.

Наша семья с материнской стороны владела прекрасным домом XVII века в деревне Бон, на берегах реки Вьенны, на самой демаркационной линии. В июне 1940 года немцы оккупировали деревню. Поскольку я бегло говорила по-немецки (я швейцарка по отцу), мне сразу же пришлось выполнять роль посредника, помогавшего растерянным жителям.

Очень скоро я начала помогать беглым солдатам перебираться через закрытую границу, которой стала Вьенна[6]. Я не могла переносить зрелище рассеченной надвое Франции, разделенных французов. Так я постепенно вошла в ряды движения Сопротивления оккупантам. Переправы через демаркационную линию, доставка почты, кража документов, перехват данных о передвижении подводных лодок, защита евреев-преподавателей музыки…

На следующих страницах я расскажу о том, что я делала в Сопротивлении. Я считаю, что таковым был мой долг, и вовсе не привожу свою жизнь как пример героизма. Многие и многие во время войны проявили куда большую храбрость, великодушие и самоотдачу!

Осенью 1943 года меня арестовали в Париже, а затем перевели на реквизированную гестапо виллу на юго-востоке Франции. Здесь я попала в лапы двадцатишестилетнего врача по имени Лео, занимавшегося опытами над пленниками, в этих

опытах испытывались новые способы добычи показаний. Палочные удары, задевавшие спинной мозг, разрушили мои нервные центры.

В феврале 1944 года участники Сопротивления, уведомленные швейцарским Красным Крестом, освободили меня из этого ада на пороге смерти. Страдания, которые я испытываю с тех пор, лишили меня большинства физических возможностей, особенно той, что была мне важней всего: до войны я начинала карьеру пианистки, у меня были к этому способности.

Вера в воскресшего Христа помогла мне выдержать время испытаний и тьмы, а после — построить жизнь, которая уже не была целиком в моих руках. Упование на Бога учило меня любить врагов и, созерцая Крест, верить в прощение.

С конца войны я стремилась простить того, кто почти разрушил меня, тому, кто привел меня к порогу смерти, я хотела показать путь Жизни. Но прощение не совершается в пустоте. В глубине сердца я искренне ощущала, что простила Лео. Но смогу ли я в действительности сказать ему: «Я вас прощаю»?

Я не была уверена в этом.

В то утро 1984 года, когда меня застиг врасплох телефонный звонок, мое желание простить подверглось испытанию в том смысле, в каком мы обычно говорим о посылаемых нам испытаниях. На самом деле те сорок лет были в большей мере временем забвения обид, чем приготовлением к прощению.

По телефону он представился нейтральным тоном: «Во время войны я был врачом… Я не знаю, помните ли вы…» Помню ли я! В свою очередь я бормочу: «Но почему вы захотели меня увидеть? Почему теперь? Что мы можем друг другу сказать? Как вы меня нашли?»

Он ответил: «Вот мы об этом и поговорим».

Голос был нейтральным, почти мягким, в отличие от тех грубых металлических интонаций, что до сих пор звучали в моих ушах.

Я согласилась встретиться с ним. Он сказал, что придет во второй половине дня. Как описать бурю в моей голове? Все эти сорок лет я не переставала молиться за этого человека. Меня мучила навязчивая мысль, что он умрет с сердцем, полным ненависти, и я молилась, чтобы он встретил Того, Кто создал его любовью и для любви. Я не могла вынести, чтобы зло торжествовало в человеке. И мне казалось, что жертва больше, чем кто-либо другой, подходит, чтобы вступиться за палача.

В конце концов мне следовало желать этой встречи, но я никогда не думала, что она возможна, и потому не подготовилась. Неожиданность испугала и взволновала меня. В

часы перед встречей мне много раз хотелось ее отменить, но было слишком поздно, и у меня не было возможности связаться с ним. «Да минует меня чаша сия». В сущности это было искушение. «Впрочем, не как я хочу, но как Ты»[7], — говорит Иисус Отцу. Обдумывая свою жизнь, — мне было в тот момент шестьдесят два года, — я поняла, что жизнь измеряется не задачами, которые мы перед собой ставим, и не нашими представлениями о себе, а тем, как мы себя ведем в вынужденных обстоятельствах. Войти в Сопротивление, вынести муки, перестроить жизнь в соответствии с новым физическим состоянием — ничего этого я не выбирала и не предвидела. Каждый раз я просто старалась справиться с испытанием.

Следовательно, и встречу с Лео я должна была пережить, а не подготовиться к ней. В конце концов, я вынесла его жестокое и ранящее обращение, зачем страшиться новой встречи, явно благожелательной! Не оказывается ли моя тревога свидетельством того, что примирение — поступок более трудный и жертвенный, чем противостояние?

Он пришел ко мне в конце дня. «…Не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать»[8]. Я повторяла слова Христа, обращенные к двенадцати ученикам в начале их поприща, когда он позвонил в дверь маленькой квартирки в Сен-Жермен-ан-Ле, куда я переехала тремя годами раньше после смерти матери и где живу до сих пор. Мне было тем более необходимо полностью довериться Богу, что это был один из тех дней, когда тело мне изменяло. Я должна была по возможности оставаться в постели.

Я узнала его голос. Открыв дверь, я испытала сильнейшее потрясение. Ему было уже за шестьдесят. Волосы из белокурых стали седыми, черты лица потеряли резкость, но он сохранил прежний силуэт и осанку.

После нескольких секунд общей неловкости, он чрезвычайно учтиво приподнял шляпу и протянул мне руку. Я пригласила его сесть, извинившись, что сама вынуждена снова лечь. Его напряженная улыбка свидетельствовала о том, что он сознает меру своей ответственности за мое состояние…

Он начал без обиняков: «У меня рак. Я только что об этом узнал. Я обречен. Врач сказал, что мне осталось жить не больше полугода». Он говорил бесцветным глухим голосом, уставившись в пустоту, не смея встретиться со мной взглядом. Долгое молчание. Затем он повернулся ко мне и продолжил: «Я не забыл того, что вы говорили о смерти другим моим пленникам. Меня всегда поражала надежда, которую вы поддерживали в окружающих, несмотря на отчаянное положение. Сейчас меня

пугает смерть. Поэтому я захотел вас услышать.»

Он говорил о месяцах заключения под его свирепым надзором, когда я пыталась пробудить в сокамерниках веру в Бога, упование перед лицом страдания и смерти, надежду на вечную жизнь, где зло будет побеждено навеки.

По крайней мере, это была ясная просьба. Но как с ним говорить о будущей жизни, не предложив сначала рассмотреть жизнь прошедшую? Ведь при свете его прежние поступки станут заметнее. Путь христианского примирения начинается с признания вины. Не для того, чтобы с наслаждением перебирать прошлые грехи, а для того, чтобы на расстоянии увидеть их со всей ясностью.

Его поведение выражало подлинное смирение — плечи сгорбились, голос понизился. Смущенный вид резко контрастировал с той надменной уверенностью, которая отличала его сорок лет назад. Но следовало начать с признания правды. Была моя очередь говорить.

— Отдаете ли вы себе отчет в содеянном? Как вы до этого дошли?

— Что вы хотите сказать?

— Ну, как вы стали военным преступником?

Вспышка раздражения промелькнула в его глазах, напомнив мне о том, каким он был прежде.

— Вы так это называете?

— Да, я называю это так. Не вижу, как иначе определить то, чем вы занимались во время войны.

Он пустился в запутанные оправдания принятых в юности решений. Успехи в медицине, то, как гитлерюгенд заигрывал с лучшей частью молодежи, чтобы привлечь ее в свои ряды; первоначальное стремление быть лояльным гражданином своей страны; зловещее стечение обстоятельств, перед которым он чувствовал себя бессильным; промывание мозгов, которому он подвергся в гитлерюгенде… Разумеется. Но его сегодняшний гнетущий фатализм не оправдывал прежнего усердия! Разговор незаметно соскользнул с исторической почвы на духовную. Я почувствовала, что он начал выражать искреннее сожаление по поводу своих действий. Теперь я хотела, чтобы он сделал следующий шаг:

— А теперь? — спросила я.

Он пожал плечами и вздохнул:

— Вы говорили про обещанный Богом рай. Как вы знаете, по происхождению я христианин. Верите ли вы, что для таких, как я, есть место в раю?

— Место есть для всех, кто, какова бы ни была тяжесть его

грехов, соглашается принять Божье милосердие. Для этого Христос отдал за нас жизнь. И Он был с нами до самого Креста, ибо цена была высока, значит, мы можем доверять Ему. На последнем вздохе Он подумал о вас лично, обо мне лично. Никогда Он не отрекся от безграничной любви к вам. Даже когда вы совсем отдалились от Него.

Я говорила медленно, стремясь, чтобы каждое слово проникло в него, запечатлелось в его сердце. Я видела, как постепенно поднималась его голова, распрямлялось тело, как будто он снова мог дышать, как будто новое будущее открывалось перед ним. Так мы проговорили больше часа. Он объяснил мне, что представлял себе смерть как дверь гаража, которая, закрывшись за ним, превращала его в узника, поэтому он боялся смерти.

Я продолжала говорить и видела, как он меняется. При этом он говорил немного. Вначале его приход был вызван только страхом, паническим ужасом перед приближавшимся концом. Я видела, как постепенно он все более открывается моему призыву совершить шаги к покаянию и примирению.

Внезапно он поднялся, подошел к дивану и наклонился ко мне. Глаза его увлажнились, губы дрожали. Он пробормотал: «Простите. Я прошу у вас прощения». По-немецки существуют два слова для выражения прощения: *Verzeihung* и *Vergebung*. Второе намного сильнее первого и отсылает к тяжким грехам. Именно это слово он употребил.

Инстинктивно я сжала его лицо обеими ладонями и поцеловала его в лоб. В эту минуту я почувствовала, что действительно простила. Этот поцелуй был подлинным поцелуем мира[9], самый подлинный и самый искренний из всех, что я давала и получала.

Настоящее чувство мира, светлого покоя наполнило мое сердце. Подле меня Лео явно переживал внутреннее обращение. Он сел и снова спросил меня:

— Что я теперь должен делать? Как могу я искупить содеянное мною зло?

— Любовью, — ответила я. — Любовь — единственный ответ на зло.

Я продолжала:

— Вы никогда не сможете сгладить или исправить зло, причиненное людям во время войны. Используйте же оставшиеся вам месяцы, чтобы делать добро окружающим, близким.

Он нахмурил лоб.

— Но как? Никто в Германии не знает о моем прошлом. Я женился, создал семью. Я известный и уважаемый в городе врач.

— Если вы в этом доверитесь Богу, Он даст вам силы и возможность проявить мужество в этой ситуации. Вы сказали мне, что вам осталось жить не больше шести месяцев. Вы полагаете, что у вас есть более важные дела, чем подготовка к решающей Встрече?

Он пробыл у меня два часа. Оставшись одна, я весь вечер и большую часть ночи пребывала в глубоком потрясении. Не было сил двигаться, говорить, делать что бы то ни было, кроме как смотреть на опустевшее кресло, в котором человек, бывший сорок лет назад моим палачом, открыл для себя благодать прощения.

Его жена пришла с ним вместе, но предпочла остаться в стороне, дожидаясь в соседней комнате. Через полгода она мне позвонила, чтобы сообщить о смерти Лео. И сказать, что в последние минуты, когда она предложила позвать пастора или священника, он ответил: «Я хочу, чтобы рядом со мной была Маити».

Лео сдержал слово. Вернувшись в свой городок в Рейнской области, он сначала собрал всю семью, а на следующий вечер друзей и знакомых. Он исповедался в своем прошлом и выразил желание быть им полезным во всем, что в его силах. Его последние месяцы действительно стали временем жизни для других. Я все время молилась за него. Я не сомневаюсь, что он уже разделяет радость сынов Божиих. В Лео исполнилась тайна Искупления.

Долгие годы я никому не говорила об этом событии, не желая выставлять себя напоказ, из уважения также к его личной истории. Через десять лет после этой невероятной встречи те немногие близкие, которым я о ней рассказывала, убедили меня в необходимости свидетельствовать об этих фактах и для этого вернуться к обстоятельствам, приведшим к ним. Множество телевизионных передач как, например, «Ход века» в 1996 году и интервью, опубликованные в журналах, дали мне возможность рассказать основные эпизоды этого дела.

На закате жизни я прослеживаю основные ее этапы, которые, я надеюсь, помогут понять, почему и как Господь воспользовался одной из своих бесполезных слуг, чтобы явить могущество Своего милосердия.

Глава 2
Музыка будет моей жизнью

Служить Франции, хотя я не француженка, — таков парадокс моей жизни. Вызов был принят мною в восемнадцать лет, когда началась война.

Я родилась в Швейцарии 15 марта 1922 года, и я всегда сохраняла швейцарское гражданство, полученное благодаря отцу-швейцарцу. Это гражданство определило особенности моей судьбы, которых никто не мог предвидеть заранее.

Мой отец, Пауль Гиртаннер, происходил из одной из самых старых швейцарских семей. Генеалогию нашей семьи можно проследить до середины XIII века. В Швейцарии никогда не упомянут чью-то фамилию, не назвав при этом его родной кантон. Род Гиртаннеров происходит из кантона Санкт-Галлен, немецкоязычного кантона на востоке страны, расположенного вблизи озера Санкт-Галлен и австрийской границы. Наша семья была даже одной из семей — основательниц кантона и почти всегда представляла его в федеральном собрании. Заседать в правительстве было для семьи моего отца формой служения родине.

Я, несомненно, что-то из этого унаследовала… Исследования показывают, что наш род происходит из деревушки Гиртанн в Вальде, соседнем с Санкт-Галленом кантоне. Все Гиртаннеры по мужской линии были красильщиками, с XV века до начала XX-го. Многие члены семьи последовательно занимали пост бургомистра города Санкт-Галлен в XVIII веке.

Мой отец, Пауль, отпрыск старшей ветви Гиртаннеров, родился в 1890 году. Он был чрезвычайно способен к языкам, высшее образование получил в Англии. В старинных швейцарских семьях было принято отправлять сыновей учиться за границу. Отец говорил, естественно, по-немецки, французский и английский знал в совершенстве, а кроме того, владел испанским и итальянским. Его открытость к внешнему миру склонила обувную фирму Балли к решению назначить отца директором по международным связям.

Отец был старшим из семи детей. Точнее, его мать умерла во время родов, дед вскоре снова женился, и у него было еще шестеро детей; всех их мы считали родными дядями и тетями.

Семья Гиртаннеров была протестантской, глубоко преданной традиции. Тем не менее, в возрасте двадцати лет отец решил перейти в католичество. Это решающее в его жизни событие,

естественно, повлияло на то, как он передал веру детям и, следовательно, на то, как католическая вера влияла и до сих пор влияет на мою жизнь. Отец никогда не рассказывал подробно о причинах своего обращения в католичество, насколько я понимаю, его глубокая духовная жажда не находила утоления в протестантизме. В отце всегда жило желание личной связи с Христом, не книжной, а жизненной, которое могло исполниться в таинствах, и прежде всего в Евхаристии.

В начале XX века экуменизм еще не был в моде. Протестанты и католики подчеркивали взаимные различия и не стремились жить как ученики одного Господа. Обращение моего отца могло бы быть воспринято нашей старой протестантской семьей как предательство, но этого не случилось.

Напротив. Поскольку он был счастлив на избранном пути, следовало не только его уважать, но и помочь ему как можно лучше пройти свое поприще. Так повели себя родители, братья и сестры. Так же относились дяди и тети и к нам, детям Пауля, когда мы приезжали к ним на каникулы. Они отвозили нас к мессе каждое воскресенье и помогали нам в чтении ежедневных молитв, принятых Католической церковью.

Моя мать, Клер Руньон, познакомилась с отцом во время поездки с родителями в Швейцарию. Бракосочетание состоялось в Париже, в мэрии IX округа, а венчание в церкви Нотр-Дам де Лоретт на рю де Мартир, где жила семья моей матери. Затем родители поселились в Швейцарии, в Аарау. Этот маленький городок расположен не в немецкоязычном кантоне Санкт-Галлен, а в более западной части Швейцарии, где располагалась и фабрика Балли. Здесь в 1921 году родился мой брат Франсис. Мама непременно хотела, чтобы слово «Франция» было запечатлено в имени ее первого ребенка.

Я родилась через одиннадцать месяцев после брата, 15 марта 1922 года. Маити — швейцарское имя, к нему родители присоединили имя моей бабушки со стороны матери — Мария-Луиза.

Я не помню своих первых лет в Швейцарии, так как уже в 1925 году родители поселились во Франции, в Ножан-сюр-Марн. Отец должен был создать здесь фабрику Балли, перед тем как отбыть с той же целью в Англию, а затем в Соединенные Штаты, для международного развития фирмы, но не успел. Он умер зимой 1926 года. Отказали надпочечные железы, болезнь, которую в наше время легко и быстро вылечивают. В то время врачи только беспомощно наблюдали, как он сгорел за две недели. Образ отца остался расплывчатым.

Лучше всего я помню, как, незадолго до смерти отца, нас с

братом отвезли к дедушке с бабушкой. Мы вернулись домой, только чтобы поцеловать его на прощанье. Позже я видела его фотографии, но от этой последней встречи я не сохранила даже четкого воспоминания о его лице. Гораздо позднее, с остротой, усилившейся во время войны, я осознала, что я от него унаследовала: открытость к другим людям и внешнему миру и твердую веру, ставшую плодом его обращения.

Мне не было четырех лет, когда я лишилась отца. Это был первый перелом в моей жизни. Став вдовой после всего шести лет брака, мама вернулась к родителям. Они жили тогда в доме 41 по рю де Мартир; это был большой многоквартирный дом в форме буквы U, охватывавший с двух сторон большой сквер, в который выходил окнами детский сад, располагавшийся на первом этаже дома.

В квартире на пятом этаже жили тогда мои дедушка с бабушкой Руньоны, мама, ее незамужняя старшая сестра Маргарита, которую мы звали «крестная», и два ее младших брата — Фернан и Шарль.

В 1928 году бабушка сломала шейку бедра и больше не могла подниматься на пятый этаж, так как в доме не было лифта. Мы переехали с рю де Мартир в Сен-Жермен-ан-Ле, где я живу с тех пор.

Мы занимали весь первый этаж большого здания на авеню де ла Республик, которым владели наши друзья из Пуату. Этот особняк, отель Фюрстенберг, построенный в классическом стиле и чрезвычайно элегантный, во времена Людовика XIV был английским посольством. Я жила в нем больше пятидесяти лет, вплоть до смерти мамы в 1981 году; затем я переехала на улицу Эннемон, где я когда-то училась в начальной школе.

Мой дед, Поль Руньон, был профессором парижской консерватории. Ради соблюдения исторической точности, а не из семейной гордости, я должна напомнить, что он был одним из самых значительных и самых уважаемых музыкальных педагогов своего времени. Он был известен во всем мире, и занятий с ним добивались лучшие пианисты. В Консерватории он преподавал сольфеджио. После тридцати лет преподавания на Рю де Ром, с 1891 по 1921 год, он вышел на пенсию, но преподавать не перестал. В течение оставшихся ему пятнадцати лет жизни он продолжал принимать новых учеников и помогать тем, кого учил прежде.

Он был также и композитором, и от него осталось множество произведений, написанных в основном в начале XX века. После моего рождения и в особенности после того, как мы к ним присоединились на рю де Мартир, он работал у себя. В доме

царила музыка, все в нем подчинялась требованию качества и красоты. Музыка была воздухом, которым мы дышали. С первого дня она стала для меня близкой подругой. Она не была дополнительным занятием, придатком к жизни, как у большинства людей, включая и меломанов. Она была самой жизнью. Освоить ноты мне было не труднее, чем буквы. Грамматика была предметом для изучения, сольфеджио — очевидностью. Так же как французский и немецкий языки, а может быть, и больше, музыка была моим родным языком.

Моя незамужняя тетя, «крестная», преподавала фортепиано. Мама играла на скрипке. Они много музицировали вдвоем. Мой брат Франсис учился играть на скрипке. Я с самых ранних детских лет сидела за пианино. Мне рассказывали, что мои руки сами легли на клавиши. Я мгновенно выучила ноты. В общем, у меня был дар. Я говорю без ложной скромности, но и без гордости или высокомерия. Я научилась играть на фортепиано, почти не заметив этого…

Маленькой девочкой я уже знала, что меня ждет: я буду пианисткой, музыка станет моей жизнью. К семи годам я уже была твердо уверена в этом. Я проводила за пианино много часов в день. Каждый вечер я играла по полчаса дуэтом с моим братом Франсисом, он играл на скрипке. И сам дедушка проводил по двадцать-тридцать минут, работая со мной.

Первые годы дед приносил мне крупно переписанные ноты, чтобы мне было легче разбирать их. Он был требователен. Я уже сказала, что фортепиано было для меня удовольствием. Это правда, но и речи не могло быть о том, чтобы баловаться за инструментом, делать невесть что или попусту терять время. От великого учителя Поля Руньона я восприняла, что радость рифмуется со строгостью, прежде всего в музыке и, в конечном счете, во всех областях жизни.

Я все любила: Бах и Бетховен определили мое музыкальное становление, и дед любил, чтобы я над ними работала. Он сам составлял мне программу, но я быстро добралась до таких композиторов, как Дебюсси и Равель, которых дед не принял. У меня был аналитический ум.

Говорят, что дети уклоняются от сольфеджио, но я больше всего любила разбирать сочинения, анализировать форму, понимать конструкцию отрывка.

Я всегда знала произведение наизусть, перед тем как начать играть. Все было мне интересно. Всякий раз, когда я приступала к новому для меня композитору, я задавала тысячи вопросов. — Как он жил? Как выучился музыке? В каком обществе рос? Кто на него влиял? Занимался ли он другими делами? — Я хотела все

знать.

Очень рано меня посадили играть перед публикой. Не бывало, скажем, семейных событий, где меня не просили бы играть. Иногда дед брал меня на свои занятия и всегда сажал за инструмент. Для его учеников я была «внучка Поля Руньона». Должна признать, что это производило впечатление, но мне следовало быть на высоте. Была ли я? Во всяком случае, так мне говорили. Одно могу сказать с уверенностью: я никогда не волновалась перед выходом на сцену.

Больше всего меня восхищало, что в дом постоянно приходили самые знаменитые музыканты того времени, так что передо мной всегда, как образец, стояла высшая степень совершенства. Особенно сильное впечатление на меня произвели два ученика моего деда: Альфред Корто и Ив Нат. Корто поражал меня, Нат был очарователен. Он отличался редкой приветливостью и благорасположенностью. Помню, как я прыгала на его коленях. Он часто приходил к нам в Париже; дед принимал его и в своем доме в Боне. Нат терпеливо работал со мной над сонатами Бетховена, а ведь он был одним из лучших их исполнителей. От него осталась запись всех Бетховенских сонат, которую очень ценят и всегда разыскивают меломаны.

Он усаживал меня на табурет, просил играть, потом занимал мое место, чтобы объяснить фразу или аппликатуру[10] перед тем, как проиграть снова.

После каждого его посещения я могла конкретно оценить свои успехи в игре. После смерти деда в 1934 году я сохранила отношения с Ивом Натом и со многими другими пианистами. Мне было девять лет, когда я, можно сказать, дала первый сольный концерт. Профессор Руньон решил устроить публичный концерт своих лучших учеников и в этот день добавил к списку внучку, хотя я была на много лет младше всех остальных. Это было в зале Гаво, не в большом зале, а в одном из маленьких залов верхнего этажа, которые вмещали от ста пятидесяти до двухсот человек. Помнится, в этот день я играла одну из поздних сонат Бетховена.

Вскоре я смогла выступить в Женеве под управлением дирижера Эжена Орманди. Этому великому венгерскому дирижеру было тогда около тридцати пяти лет, он только что стал руководителем Филадельфийского оркестра, одного из лучших в Америке, и в течение дальнейших сорока лет оркестр хранил печать его дара. Тогда он еще не достиг всемирного признания, но музыкальная общественность уже предсказывала ему блестящее будущее.

В день концерта солист заболел, и организаторы в спешке

схватили внучку Поля Руньона. В программе был концерт Грига, а я только что выучила его. Я очень гордилась оказанной мне честью. Впоследствии я редко играла с оркестром, предпочитая сольные выступления.

Примерно в это время я поняла, что стану концертирующей пианисткой, что фортепиано будет для меня не времяпрепровождением, а смыслом жизни, способом выразить себя и разделить с другими дары, полученные от Господа. Я говорю это без высокомерия. Замечу, что никто в нашей семье не препятствовал мне. Напротив, я научилась никогда не лезть вперед; всегда держать перед глазами предстоящий путь, а не те преимущества, которые у меня могли быть перед другими людьми. И если я возвращаюсь сегодня к перспективам реально открывавшейся передо мной музыкальной карьеры, то только для того, чтобы была понятна незаживающая рана, которой стала для меня необходимость отказаться от фортепьяно после войны.

1922 год — год моего рождения — был годом создания Лиги Наций, похвальной попытки извлечь уроки из страшной войны 1914 года и установить справедливый международный порядок, основанный на диалоге между государствами. Но эта эфемерная надежда на мир длилась так недолго, что не закрепилась у меня в памяти. Перед глазами маленькой девочки был мир, полный опасностей, живший в постоянном страхе нового потрясения. Мне повезло, с раннего детства я была окружена и с отцовской, и с материнской стороны семьей, больше обычного открытой к внешнему миру, к современности, к действительности. Хотя мой отец был швейцарцем, но мы выросли без всякого намека на идею, что наш мир кончается у границ Франции. Благодаря друзьям мы были особенно внимательны к происходящему в Германии. Я вспоминаю семейные разговоры о восхождении Гитлера к власти в то время, когда во Франции никто еще таких разговоров не вел.

Дедушка Руньон, к которому ученики съезжались со всей Европы, и сам много путешествовавший с концертами, имел весьма интернациональное видение действительности. Что до меня, я не всегда понимала, что происходит, но всем интересовалась. Каждое утро деду приносили «Фигаро». Я брала газету и пробегала ее со страстью, хотя довольно беспорядочно. Деду не нравилось, что я бросаюсь на все подряд без подготовки. Однажды он сказал: «Я вижу, газета тебя интересует; это очень хорошо, но мне не нравится, что ты читаешь невесть что. Если хочешь, я покажу тебе, какие статьи стоит читать, а потом объясню их тебе». Я очень обрадовалась: в возрасте десяти лет попасть в руки человека, которым я восхищалась, которому

беззаветно верила! Так каждый день дед делал для меня обозрение прессы. Культуре, конечно, отдавалось привилегированное место, но дедушка привлекал мое внимание и к международным событиям, объясняя политический контекст обсуждаемых вопросов. Это стало ежедневным ритуалом после каждого урока фортепьяно. Была газета, но было и радио. Вокруг большого приемника собиралась вся семья, чтобы послушать новости, как тогда говорили.

Дедов анализ никогда не основывался на априорных суждениях. Он никогда не говорил: «они правы» или «они ошибаются». Он пытался дать мне понять, почему те или другие действуют тем или иным способом. Не потому, что все было оправдано в его глазах, но из интеллектуальной строгости. Следовало сначала знать, затем понять и, наконец, судить. Он говорил мудро и авторитетно, что мы никогда не знаем всего, нам всегда чего-то не хватает для полноценного вывода, и что лучший метод рассуждения — это некоторая сдержанность в суждениях, перед тем, как бросаться сломя голову в том или ином направлении. Таким образом, уже в возрасте десяти лет я тщательно изучила оба тоталитаризма — сталинский и гитлеровский — умом десятилетней девочки.

Если рассматривать с сегодняшней точки зрения позицию семьи моей мамы, я бы сказала, что политически она была право-центристской, при благожелательном восприятии ими левоцентристов. Однако Народный фронт[11] не считался в нашей семье положительным экспериментом. И мне кажется, что мало кто из нашего окружения голосовал за его кандидатов. Но в застольных разговорах проявлялось известное сочувствие людям, доверяющим ему. У нас понимали, что людей, живших в гораздо более трудных условиях, чем мы, могло соблазнить правительство, обещавшее лучшую жизнь. Наша среда больше соприкасалась с правыми политическими движениями. В частности, напомню про «Огненные кресты» полковника Де ля Рока[12]. Особенно в Пуатье — многие люди вокруг нас очень ими интересовались. Но, насколько я могу вспомнить разговоры взрослых, в их отношении преобладало недоверие. Слишком националистические разговоры не имели успеха в нашем доме по причине нашей политической открытости. Осторожность моего деда не означала никакого фатализма или покорности судьбе перед лицом опасности. Напротив, строгость в методе рассуждения давала ему исключительную ясность и способность предвидения, которую я быстро смогла проверить.

Поль Руньон умер 12 декабря 1934 года, за шесть лет до войны. И, однако, я слышала, как он предостерегал нас против

катастрофы, которая, по его мнению, — и он в этом даже был уверен — была неизбежна. Гитлер тогда только что пришел к власти: он был избран в 1933 году. Необходимость остерегаться его экспансионистских намерений была самоочевидна, хотя многие еще долго оставались слепы даже после аншлюса[13] — захвата Австрии и аннексии Судет. Мой дед понял все намного раньше. При мне он не раз говорил о неотвратимости войны. Он ждал, что война будет объявлена в ближайшие недели.

Неважно, что его диагноз был несколько преждевременным, он воспитал нас в сознании опасности, исходящей от окружающего мира.

Среди наших друзей были немцы, что дало нам возможность физически ощущать изменения, происходившие за Рейном.

Большинство немцев выражало беспокойство, но во Франции приход нацистов к власти никого не поразил, за исключением редких интеллектуалов, по большей части христиан, например, писателя Жоржа Бернаноса или философа Жака Маритена. Но двое из наших друзей, наоборот, были весьма расположены к Гитлеру. Они говорили нам, что в той катастрофической ситуации, в которую попала Германия, ей необходим вождь. Они видели в Гитлере спасителя, однако быстро разочаровались.

Нашу бдительность по отношению к Германии поддерживали воспоминания бабушки. Она пережила и войну 1870 года, и войну 1914 года. Как многие люди, пережившие эти события, она называла немцев «фрицами». Но без оттенка презрения и ненависти, которые мы часто слышим. Из разговоров с товарищами по классу я легко понимала, как их родители относятся к немцам. Лично мне этот «антифрицевский» тон, возродившийся во время оккупации, всегда был неприятен. Я никогда не признавала, что можно питать и поддерживать в себе отвращение к человеческим существам; что во имя отвержения, пусть и оправданного, политики страны допустимо судить народ в целом. Я никогда не верила, что человек может быть на сто процентов плохим, полностью ответственным за плохую ситуацию.

Так я думала до войны. Я продолжала так думать и во время войны, даже в самые черные часы, когда могла бы испытывать вражду к немцам в своем сердце. Христианская вера побуждала меня смотреть на каждого человека не глазами других людей, а взглядом, которым смотрит на него сам Бог. Вы увидите, что это не всегда было легко. Но я всегда к этому стремилась.

Еще раз скажу, эта глубинная, или принципиальная, доброжелательность к человеку не мешала ясному видению ситуации. Я, кажется, уже говорила: у нас было более острое

сознание опасности, могущей прийти из Берлина.

Еще девочкой я увлеклась географией и картами, которые часами отыскивала в книгах. Когда мне исполнилось десять лет, мне подарили книгу, представлявшую изменение границ стран мира. Наверное, поэтому я представляла себе Германию в виде громадной коричневой глыбы, расталкивающей соседей: Австрию, Польшу, Швейцарию, Францию.

То, что я немецкоговорящая швейцарка, ставило меня в особое положение. В глазах части нашего окружения, кстати, быть немцем и говорить по-немецки значило одно и то же.

Однако путать два народа — это невероятная бессмыслица. Именно потому, что часть из них говорит по-немецки, швейцарцы всегда ревниво отстаивали свою независимость и стремились подчеркивать дистанцию между собой и могучим соседом. Со временем я стала думать, что именно гордость швейцарки отчасти подготовила мое вступление в движение Сопротивления.

Однако среди наших друзей действительно было много немцев. Не понимая в точности, что готовится в Германии, я испытывала чувство скорбного непонимания по отношению к народу, безоговорочно отдавшемуся непредсказуемому человеку, вовлекшему свою страну невесть во что. В нашей семье жило врожденное чувство меры, выдержки. Я не могла понять, как мужчины и женщины могут пуститься в иррациональную авантюру, явную крайность.

Сказать, что подлинная природа нацизма сразу бросалась в глаза, было бы и нечестностью, и анахронизмом. Скажем, я чувствовала, что что-то идет неладно. Я беседовала откровенно с моим преподавателем немецкого. «Немцы не такие индивидуалисты, как французы. Им присутствие вождя придает уверенности», — сказал он.

Его объяснение удовлетворило меня не полностью. Мне казалось, что немцы просто отдают себя на расправу. Я тревожилась за наш мир, не сомневаясь, что маленькая десятилетняя зрительница через несколько лет станет артисткой, скромной, но полностью вовлеченной в действие. Из детства, меня сформировавшего, от взгляда, данного мне, чтобы смотреть на мир и на людей, я позже вынесла сознание, что я должна дать новое подтверждение девизу семьи Гиртаннеров: «Дерзать и быть стойкими».

Глава 3
Ну вы же все-таки не собираетесь оккупировать Швейцарию!

В июле 1938 года, как и каждое лето, мы собрались переезжать на летние каникулы в наш дом в Боне. Дом принадлежал нашей семье с момента постройки в 1650 году; здание расположено на берегу Вьенны, в центре городка с четырьмя сотнями жителей, в двадцати километрах от Пуатье с одной стороны и от Шателлеро с другой. Однако я полагала, что в этом году мы переедем туда на более долгий срок, чем на лето. Дедушка Поль Руньон, как я уже писала, считал войну неизбежной. В это продолжали верить после его смерти бабушка, мама, два ее брата и сестра. Убеждение тем более понятное и оправданное, что ход событий с каждым днем давал для него все больше оснований. В марте Германия аннексировала Австрию. В Чехословакии нацисты вели себя все более угрожающе, нацелившись на аннексию территории, где жили судетские немцы. Мы еще не знали, какова будет реакция демократических стран. Франция, казалось, хочет вступить в войну, но англичане прислали весной эмиссара, лорда Рансимена, который ясно дал понять, что для Англии не может быть и речи о том, чтобы биться за Чехословакию. При любых предположениях, мы видели, что над небом Европы сгущаются тучи.

Бабушка, Мари-Луиза Руньон, предупредила: «Мы уезжаем, не могу сказать, на сколько времени. Но если дела обернутся плохо, нам, несомненно, следует остаться в Боне и соответственно обустроиться».

Она ошиблась всего на год. Это позволило нам пережить своего рода генеральную репетицию лета 1939 года и годов оккупации. Нас было в доме восемнадцать человек. Бабушка, оставшаяся вдовой в семьдесят четыре года, мама, «крестная», два моих дяди с женами, девять двоюродных братьев, мой брат Франсис и я. Восемнадцать человек под одной крышей! К счастью, дом был большой, и можно было без труда разместить всех. Несколькими месяцами позже немцы еще раз попытались частично занять дом…

Дом, названный «Старое Жилище», Вье Ложи, был построен между 1650 и 1670 годами на самом берегу Вьенны. К нему вел тупик, отходящий от городской площади. После смерти деда его назвали тупик Поля Руньона. Это была первая улица в Боне,

получившая название. Поднявшись на крыльцо в три ступеньки, вы оказывались на нижнем этаже, целиком выложенном знаменитым крупным белым камнем из Шовиньи. Этот камень, отдававший в желтизну, был мягким мелкозернистым известняком из карьера Перона в деревне Шовиньи, в пяти километрах от Бона. Из этого камня построена церковь Сен-Пьер-де-Шовиньи, великолепный храм XII века.

Справа от входа была гостиная, достаточно большая, чтобы вместить нас всех, и большая комната на две кровати; налево — столовая, за ней кухня и большая кладовая; здесь делались все хозяйственные дела, так как это было единственное помещение, снабженное водой. В остальных помещениях не было ни водопровода, ни отопления. Нам приходилось носить воду из колодца, чтобы наполнить большие баки для белья, стоявшие в кухне. Было другое время. Мы не страдали от этого. Несмотря на отсутствие комфорта, не было и речи о том, чтобы совершать свой туалет не полностью.

На втором этаже было семь комнат, в большинстве с видом на Вьенну, среди них та большая комната на две кровати, которую мы с братом занимали до войны. Дом окружен был садом, расположенным террасами, с парапетом, выходящим прямо к реке. Остроносая плоскодонка всегда была пришвартована у подножия дома. У всех прибрежных жителей были такие же, обычно выкрашенные в белый цвет.

Могли ли мы представить себе, что река Вьенна из средства связи превратится в границу? Представить, что, мирная и гостеприимная, она станет, не ведая о том, враждебной и угрожающей? Что из «дефиса» она станет «пробелом», символом разделения между двумя Франциями, насильственно отрезанными одна от другой, между бессмысленно разделенными семьями.

Тем летом 1938 года мы об этом еще не думали. Вдалеке волновался неустойчивый мир, но здесь, в Боне, мы были счастливы, очень счастливы. Дед по-настоящему любил наш дом. Семья Руньонов происходит из Пуатье. В Пуатье жило множество наших родственников. Загородный дом, наша дача, так сказать, Вье Ложи (Старое Жилище) всегда занимал место главного дома в нашем сердце. Здесь мы были поистине у себя. В Боне мы были знакомы со всеми. Все жители без предупреждения приходили и стучались в наши двери, чтобы разделить с нами добрые и плохие новости своей жизни, рождения и смерти. К нам обращались и со всякого рода просьбами. Думаю, что семью Руньон любили и уважали в округе.

Я тоже люблю этот дом. Во время войны я фактически взяла

на себя управление домом вместе с моей тетей-крестной, сегодня я его владелица, вместе с одним из моих двоюродных братьев, и в этот дом я приезжаю жить каждое лето. Вы уже поняли, у меня особая постоянная связь с Вье Ложи, связь, которая началась задолго до войны и после нее продолжалась еще долгое время. Четыре года войны и участия в Сопротивлении — много ли это в масштабе целой жизни? И еще: что это в сравнении с четырьмя веками истории, молчаливо и ревностно хранимой камнями? Тем не менее, я должна признать, что те четыре года, о которых я расскажу, с 1940 по 1944, значительнее других. И в моей личной жизни, и в истории Франции.

В конце лета 1938 года мы, однако, вернулись в Сен-Жермен-ан-Ле с чувством облегчения; тревога оказалась ложной. Но мы по-прежнему были настороже, и багаж всегда был собран. Через знакомых, живших в Германии и в Швейцарии, мы знали, что ситуация не меняется к лучшему и что иначе и быть не может. Поэтому мы не разделяли всеобщую безмятежную радость по поводу Мюнхенских соглашений, подписанных от имени Франции Эдуардом Даладье. Ему приписывают трезвое высказывание в ответ на восторженные крики толпы, пришедшей приветствовать «спасителя мира» в аэропорту Бурже: «Дураки, они не знают, чему аплодируют». Я не слышала именно этой формулировки, но она как нельзя лучше выражает состояние духа, царившее у нас в доме. Нам Мюнхен не принес облегчения. Как и дедушка несколькими годами раньше, мы чувствовали, что происходит катастрофа и что, делая уступки Гитлеру, французская Третья Республика просто убаюкивает себя иллюзиями. Я не представляла себе ясно, что стану делать в случае войны, но уже говорила себе с тревогой, что должна буду заняться помощью самым старым, самым одиноким, самым обездоленным в момент кризиса, каким бы он ни оказался. У меня было смутное, но глубоко укорененное сознание, что наша семья, наш дом должны принять на себя особую ответственность за Бон и его обитателей.

Когда мы вернулись в Бон летом 1939 года, я инстинктивно почувствовала, что нас ждут большие испытания и что возвращение в Сен-Жермен-ан-Ле произойдет нескоро. К тому же мы пустили пожить наших друзей в квартиру на рю де ла Републик. Объявление войны мы услышали в Боне, 3 сентября. Это было глубокое потрясение. Мы этого ждали, даже готовились. Каждый день, ровно в полдень, мы слушали новости с глубокой тревогой, ожидая рокового сообщения, но отсутствие удивления ничего не изменило. Это было, как электрический разряд в сердце. Напряженное и бледное лицо бабушки сказало мне больше, чем поток информации. Она, пережившая 1870 и 1914

годы, видела в воображении образы смерти, разрушения, ненависти, боли. Я читала это в ее глазах. Вскоре я пошла в деревню за покупками и чтобы проверить, не приснилось ли мне все это. Нет, не приснилось.

В несколько мгновений площадь наполнилась людьми. Как будто они надеялись узнать здесь еще что-то. Как будто то, что они здесь собрались, могло предотвратить беду или, по крайней мере, помочь им успокоиться. Но что мы могли сказать? В толпе раздавался приглушенный ропот; мы ничего не могли сообщить друг другу, кроме собственного изумления. И я так же, как и другие. Не принимая себя за Жанну д'Арк, я, тем не менее, говорила себе, что должна так или иначе принести пользу моей деревне.

Как и все французы, в течение восьми месяцев этой «странной войны» я спрашивала себя и спрашиваю до сих пор, что же в ней было забавного[14]. С точки зрения Бона в повседневной жизни ничего не происходило. Однако мы не вернулись в Сен-Жермен-ан-Ле. Мы обосновались в Вье Ложи, на этот раз всерьез. Если бы не тревога о будущем, можно было бы подумать, что у нас просто большие, продленные каникулы. Однако мне следовало организовать учебу. Я успела сдать первый экзамен на аттестат зрелости перед отъездом, но следующий должен был быть летом 1940 года. Значит, я должна была записаться на заочные курсы и найти в Шовиньи преподавателей, которые бы со мной занимались. Постепенно заботы о доме и все повседневные заботы легли на мои плечи. Бабушка старела и хуже справлялась с делами по дому из- за перелома шейки бедра, случившегося за десять лет до этого; у мамы не хватало сил управлять сложной ситуацией. После смерти деда и преждевременной смерти моего отца, тетя-«крестная» стала как бы мужчиной в семье. Все держалось на ней. Как только я смогла, я стала ей помогать с Вье Ложи.

Мы не представляли себе толком, что такое война. Все предвидели битвы на севере или на востоке Франции. Но никто не ожидал увидеть немецких солдат на наших улицах, и мы вовсе не могли предположить, что окажемся на стратегических позициях.

Все перевернулось в моей жизни, жизни Бона и жизни Франции в июне 1940 года. В течение шести недель война стала для Франции реальностью. 10 мая немецкие танки проникли на нашу территорию, молниеносно сметая наши войска с позиций. Затем последовал разгром армии, массовый исход населения, сдача позиций правительства, вынужденного бежать из Парижа сначала в Тур, а затем в Бордо. Я видела в происшедшем прежде

всего моральное поражение, отказ от совести, потерю авторитета и храбрости.

На рассвете 22 июня немецкие войска вошли в Пуатье. В тот же день маршал Петен, заместивший Поля Рейно на посту главы правительства, подписал перемирие. «Понимаешь, в Ретонде! В том самом вагоне, что и в 1918 году», — с трудом сдерживая гнев и слезы, негодовала бабушка.

В этот же день немцы вошли в Бон. Некоторые образы навсегда врезаются в память. Я говорила об отце на смертном одре. Многие другие картины навсегда запечатлелись в моем сердце за четыре года Сопротивления. Среди них 22 июня 1940 года, немецкий грузовик, подкатывающий к воротам Вье Ложи.

Я вышла из дому, услышав шум необычно мощного мотора в тупичке, ведущем к нашим воротам, и увидела колонну военных грузовиков. Я застыла в остолбенении. Не имея ни малейшего представления, что делать, я вернулась в дом и бросила маме и бабушке: «Немцы! Не двигайтесь, я ими займусь!» И немедленно вернулась на улицу. Тут я увидела, что первый грузовик движется по направлению к саду. Я мгновенно заперла ворота и встала перед ними, скрестив руки, изображая собой святую Женевьеву, не дающую Атилле войти в Париж. Мне было не по себе, но я пыталась продемонстрировать полную уверенность.

Из передней правой дверцы грузовика вышел офицер и направился ко мне с разъяренным видом. Нельзя было дать ему возможности заговорить первым, дать ему время почувствовать себя главным. Прежде чем он открыл рот, я резко бросила: «Was wollen Sie?»[15] Я нарочно заговорила по-немецки. Эффект был немедленный — его полное изумление: «Вы немка? — спросил он. — Нет, я швейцарка. Сюда нельзя входить». От удивления он слегка смягчил тон, но остался тверд.

— Сожалею, но мы должны войти. Мы займем ваш дом.

— И не думайте! Я же вам сказала, — я швейцарка. Вы же не собираетесь оккупировать Швейцарию?

— Нравится вам это или нет, это так. Откройте ворота.

Обсуждать, действительно, было нечего, неравенство не подлежало обсуждению. Мои слова против его оружия; я одна против их численного превосходства; моя прямота домовладельца против их высокомерия оккупантов — партия была заранее проиграна. С тяжелым чувством я решилась открыть им проход. Скрежет тяжелой кованой ограды звучал, как скрежет моего сердца. Наша армия побеждена. Как же может не сдаться простой мирный житель? Но хотя они могли занять наш дом, они не могли отнять мое достоинство и честь семьи, живущей здесь уже три столетия. Они вошли. Пусть я не могла ничего сделать, но

они пойдут только за мной. Я шагала медленно, ощущая спиной нетерпение моторов. На пороге я обернулась и заявила непрошенным гостям: «Пусть выйдут вперед ответственные лица. Нужно обсудить ситуацию».

Вышли два офицера, майор и капитан, насколько позволяла определить моя степень осведомленности в немецких воинских званиях. Они были явно ошеломлены тем, что я говорю по-немецки не хуже их. Это не лишило их самоуверенности оккупантов, но заставило говорить осторожно, поскольку они знали, что я все пойму. Наверняка они видели в моем знании языка еще и упрощение своих задач. Отсюда, по-видимому, проистекало их относительно вежливое обращение со мной. Если бы я не встала на пороге, у входной двери, они вошли бы в дом и без моего разрешения. Но я хотела любой ценой сохранить господство над ситуацией или, по крайней мере, попытаться это сделать. «Я сейчас вас впущу, — сказала я, — но только офицеров. И я сама покажу вам дом». У дверей гостиной я добавила: «В гостиной моя бабушка. Она стара и утомлена. Она отдыхает. Сюда я вас не впущу». К великому моему изумлению, они поклонились и не стали настаивать на осмотре комнаты. Про себя я подумала: «Один тур выигран». На втором этаже они осмотрели все комнаты. «Мы берем две», — сказал с удовлетворенным видом майор. По случайности две самые большие и красивые. Угловая, где до сих пор мы жили с братом, и соседняя, выходящая окнами на реку.

Молниеносное возражение: «Две? Не может быть и речи. Нас в доме восемнадцать человек. Если мы отдадим одну комнату, нам уже придется потесниться. А две — это немыслимо!» На этот раз властного тона, которым я старалась говорить, оказалось недостаточно. Мне дали понять, что тему двух комнат обсуждать не будут. Тогда я постаралась стать более любезной, ничтожным просителем, подчеркивая, прежде всего наше швейцарское гражданство, чтобы убедить немцев, что эта война нас не затрагивает, что мы ничего против них не имеем, но также ничего не имеем и против французов. И что если я отказала ему во второй комнате, то исключительно заботясь об удобстве семьи. Заметил ли он, что я покраснела? Что мой голос стал менее твердым? Во всяком случае, я произнесла первую ложь. Поскольку то, что эта война мне безразлична, было ложью. И что мы так же далеки от французов, как и от немцев, тоже было ложью.

Отказ в комнате армии захватчиков, в сущности, был первым шагом сопротивления — робким и безопасным, однако символичным. Даже сегодня я с трудом осмеливаюсь употреблять

слово «сопротивление», очень запоздало вошедшее в словарь войны. Еще меньше я усматриваю героическую добродетель в этом первом отказе, прежде всего спонтанном и непосредственном. Мне кажется, я сделала это скорее для себя, чем для них. Чтобы иметь право посмотреть на себя в зеркало, чтобы остаться верной семье, сделавшей свободу своим знаменем, чтобы, когда я встану перед Богом, дать ответ за каждое свое действие. Этот взрыв гордости не дал мне выйти из игры.

— Я хотела бы видеть вашего начальника, — заявила я.

— Вы найдете его в замке Туфу.

Это место мне было хорошо известно. Массивная крепость XII века с двойным донжоном[16], расположенная на окраине Бона. Замок принадлежал семье де Вержи, с которой мы были очень близки. На велосипеде я мгновенно добралась до замка. В суете расквартировки я с трудом разыскала полковника, по-видимому, ответственного за сектор. Я исполнила перед ним куплет о нашем швейцарском гражданстве и о неприемлемости для нас подобного обращения с выходцами из нейтральной страны. Я явно не составляла главного предмета его забот на фоне осаждавших его подчиненных, беспрерывно требовавших указаний.

«Решение от меня не зависит, езжайте в Пуатье» — ответил он раздраженно, явно убежденный, что я отстану, поскольку одна комната не стоит двадцати километров поездки.

Но для меня оно того стоило. Никто не сказал, что я сдамся первой. Я отправилась в Пуатье. Двадцать километров, частью по лесу, отсчитывая восемнадцать горок.

Я сосчитала их в тринадцать лет, когда часто ездила этим маршрутом. Я была очень спортивной, в частности хорошей велосипедисткой. Вопреки тому, что мог подумать полковник, эти двадцать тысяч метров кручения педалей меня ничуть не устрашали. Подобное испытание физической выносливости стало просто первым этапом на стезе бойца, и я еще не знала, сколько трудностей я встречу на этом пути.

В Пуатье я поспешила в префектуру. Я почти не сомневалась, что оккупация Франции начнется с захвата центров управления. Где, как не в префектуре, поселиться штаб-квартире? Мне было хорошо знакомо это элегантно вытянутое здание XVI века, построенное целиком из белого камня. Сюда меня часто приглашали играть на фортепьяно во время приемов. Я влетела во двор как ураган, не остановившись ни у ворот, ни на контрольном пункте. Прислонив велосипед у крыльца, как будто у себя дома, я вскарабкалась по ступеньками и, не постучавшись, проникла в салон первого этажа. Когда я об этом вспоминаю, я не понимаю, как я решилась на подобное? Но в тот момент я не

задавала себе вопросов. Уверенная в своем праве, я налетела на генерала, стоявшего разинув рот перед наглостью восемнадцатилетней девчонки.

Вы главный в этом районе? Я должна сказать, что вы плохо начинаете, вы не уважаете моего швейцарского гражданства.

Вместо того, чтобы меня выгнать, генерал попросил меня объясниться. Успокоившись, я протянула генералу мои документы. Как и двум предыдущим офицерам, я объяснила ему, что мы не стремимся противопоставить себя немцам, но просим принять во внимание нейтралитет нашей страны. Из восемнадцати обитателей нашего дома швейцарцами были только мама и я, все остальные были французы. Но я старалась не углубляться в детали. Сохранить надо было всю семью. Могу заверить, без намека на эгоизм, напротив, мной руководила навязчивая мысль, что вырванные таким образом крохи свободы помогут нам быть максимально полезными другим людям.

Он размышлял не больше тридцати секунд. В эти тридцать секунд я вместила молитву — мольбу. И получила просимое. Присев за стол, генерал заполнил и промокнул листок и, протянув его мне, сказал: «Можете радоваться». И правда, я была рада, горда и счастлива, что могу принести домой хорошую новость. Редко я крутила педали с такой скоростью по дороге из Пуатье в Бон.

В Вье Ложи я нашла майора, начавшего расставлять вещи. Чтение листочка вызвало у него гримасу, выражавшую смесь гнева и восхищения юной противницей, сумевшей выиграть у него партию. Затем он отдал приказы денщику. В результате немцы заняли одну комнату, как я хотела, а не две, как хотели они. Наша армия склонилась перед ними, но нам осталось другое оружие: решимость, хитрость, честь. Они только что доказали свою эффективность.

Я спасла одну комнату. Весьма незначительная победа, по сравнению с размерами трагедии, обрушившейся на Францию. Мы уже смирились с поражением, теперь нам предстояло смириться с разделением страны на две части.

Это разделение мы почувствовали глубже, чем жестокость и абсурдность вторжения, поскольку демаркационная линия прошла через Бон, прямо по Вьенне, у ворот нашего дома. Именно поэтому, кстати, немцы так стремились к нам вселиться; наш дом был идеальным местом для контроля и наблюдения.

Деревня была разделена на две части: ее центр и большая часть строений находились на левом берегу Вьенны, но некоторые дома стояли на правом. Всякий, кто видел «Демаркационную линию», прекрасный фильм Клода Шаброля с Морисом Роне и

Жаном Себером, может понять, каким было это разделение, какую боль причиняла эта граница внутри страны длиной в тысячу двести километров, проходившая от Арнеги в Нижних Пиренеях у испанской границы, до Жекса в департаменте Эн, на границе со Швейцарией, — тринадцать французских департаментов. Тем, кто не знал войны, свидетельство жителей Берлина, проснувшихся однажды утром в августе 1961 года перед разделившей город стеной, поможет понять, каким потрясением было установление этой границы. Она не была построена из кирпичей или из колючей проволоки, но реальность была той же самой: скорое водворение, занявшее всего несколько часов, постоянный надзор, делавший невозможным пересечение границы обычными, узаконенными средствами. Демаркационная линия сразу же вызвала надежду и страх: надежду на свободу и страх смерти; надежду на возможность продолжать борьбу, перейдя границу, и страх быть схваченным при ее переходе.

Я ощущала это разделение физически и не могла его вынести. Я не могла согласиться с тем, что Вьенну, «мою» Вьенну превращают в заставу. Из Вье Ложи я смотрела на свободную зону. Я чувствовала себя принадлежащей к обеим разделенным частям. Я не хотела, чтобы мне запрещали ходить по родной земле, земле моей семьи, жителей нашей деревни — моего естественного окружения.

Демаркационная линия была введена сразу после подписания перемирия. Итак, для нас вступление немцев в Пуатье совпало с закрытием въезда в оккупированную зону. На следующий же день было попросту запрещено перебираться с одного берега Вьенны на другой. Как я уже сказала, часть домов нашей деревни находилась на правом берегу.

Две половины деревни соединял мост. Старинный мост, построенный, насколько я знаю, в XVIII веке, с семью пролетами, длиной в сто пятьдесят метров; Вьенна в этом месте очень широка. Мост расположен на краю нашего сада, и это единственная переправа — две другие находятся в шести километрах вверх по течению и в восьми километрах вниз по течению. На мосту, кстати, повесили первое в Боне объявление: «Verboten» — было написано огромными буквами. «Запрещено». Запрещено переходить через мост, по которому мы ходили ежедневно по одной простой причине: через мост проходила дорога, через пять километров подводившая к Шовиньи, ближайшему к Бону городу.

В нашей деревне с четырьмястами жителей были только мелкие лавки, в которых далеко не все можно было купить. Основные продукты питания закупались в Шовиньи. У нас

перехватило дыхание, когда мы поняли, что дорога в город закрыта. Жители деревни один за другим подходили к деревенской площади, озадаченные словом «Verboten», трижды повторявшимся в пяти строчках немецкого текста. Помимо этого слова, быстро ставшего самым понятным, если не единственным понятным для французов немецким словом, это гигантское объявление, размером два метра на четыре, было невразумительно.

Нашим мэром был Ангерранде Вержи, владелец замка Туфу, друг нашей семьи и владелец винной марки «Сюз», очень популярного в то время аперитива. Он знал, что я и, несомненно, только я говорю по-немецки. Он попросил меня перевести объявление. Что я охотно и сделала. В этих тяжких обстоятельствах мне казалась очевидной необходимость поставить мое знание языка оккупантов на службу страдающим жителям деревни.

Немцы утвердили разделение с помощью демаркационной линии. С помощью знания языка Гете я восстановила связь. Они создали сложности — я хотела найти решения.

Я подчеркиваю вполне эмпирический характер предпринятых мной поступков. Я не проснулась внезапно в один прекрасный день участницей Сопротивления. Я не приписывала себе миссии изгнать немцев из Франции на следующий день после разгрома. Я говорила: «Я не принимаю себя за Жанну д'Арк, и у меня нет безумной и визионерской отваги генерала де Голля, верившего, вопреки всякой очевидности, в возможность возобновления борьбы».

Проще говоря, моя история — это история очень юной девушки, хотевшей помочь окружающим. А продолжение, так сказать, восхождение от личной истории в большую Историю, переход ее из служения в свидетельство — это только цепь обстоятельств, работа Провидения, которое находит хрупких посредников, чтобы действовать через них.

В первые дни оккупации меня поглощало стремление сделать так, чтобы все происходило наилучшим образом. Сразу же встал вопрос о снабжении деревни. Как делать покупки, раз дорога в Шовиньи закрыта? Необходимо было получить разрешение пересекать демаркационную линию. Немцы очень быстро утвердили принцип аусвайса (*нем.* — Ausweiss) — знаменитого пропуска, выдаваемого комендантом района. Одно только его получение было трудным путем бойца: полное досье, обоснование просьбы, свидетельство с места проживания… Эта волокита должна была отпугивать желающих получить пропуск. Жители департаментов, пересеченных демаркационной линией, должны

были получать *Ausweiss für den kleinen Grenzverkehr*, дословно: пропуск для близких перемещений в приграничной зоне, но и этот пропуск было нелегко получить. Такие пропуска выдавали местные штаб-квартиры, Feldkommandanfuren (полевые комендатуры) и Kreiskommandanfuren (окружные комендатуры). Первым моим импульсом было отправиться в Туфу. Я шла со следующими аргументами: невозможность оставить окружающее население без всякой помощи, необходимость снабжать семьи предметами первой необходимости, тем более, что наиболее активные мужчины мобилизованы и еще не вернулись домой, а главное, из-за своей швейцарской ментальности я не могла смириться с ограничениями. Встретившийся мне офицер был готов дать мне одноразовое разрешение. Последовал быстрый диалог:

— Мне нечего делать с вашим однодневным разрешением. Я хочу иметь постоянный пропуск.

— Тогда я ничем не могу вам помочь. Однодневный пропуск или ничего.

— Я обращусь к вашему начальству в Пуатье.

— Вот-вот. Давайте. Всего доброго.

Высокомерно-иронический тон офицера окончательно вывел меня из себя. Я видела ясно, что он не принимает меня всерьез. Ладно же, он увидит, с кем имеет дело. В конце концов, я уже однажды съездила в Пуатье, и офицер, хотевший отнять у нас две комнаты, узнал, на что я способна. Этот тоже сможет увидеть, какова я… Я действовала решительно, тем более, что была убеждена, что отстаиваю всего лишь свое святое право и здравый смысл. И это помогло в новом путешествии по маршруту Бон-Пуатье с его восемнадцатью горками.

Войти к полковнику, разместившемуся в префектуре, было не намного труднее, чем в первый раз. Дневальному, загородившему мне вход в большую канцелярию, я сказала, что знакома со старшим офицером и он меня ожидает. Совершенство моего немецкого прозвучало для него убедительным доказательством. Полковник был тот же, что и в первый раз. Он меня узнал. «Что Вам еще нужно?» — Он спросил это тоном, выражавшим любопытство, а может быть, и легкое веселье. Я исполнила свою песню, стараясь выглядеть как можно более удрученной и подавленной.

Он выдал мне Ausweiss. На шесть недель. Но я не хотела возвращаться каждые шесть недель. Конечно, это лучше, чем ничего, но я была разочарована. Раз уж он сделал одно усилие, мог бы сделать и второе.

«Спасибо, это мило с вашей стороны, но, по правде сказать,

не вполне меня устраивает. Я не хочу возвращаться каждые шесть недель. И Вас будут раздражать мои появления. И потом, очень утомительно проделывать каждый раз путь общей длиной в сорок километров туда — обратно на велосипеде». Аргумент был неудачный. В его глазах я прочла, что он не верит в недостаток моих физических сил. Позднее я поняла еще одну причину его нежелания выполнить мою просьбу: прикомандированные офицеры сменялись каждые пять недель. Очевидно, командование приняло такое решение, чтобы избежать возникновения тесных связей с окружающим населением, и, следовательно, полковник знал, что в следующий раз я буду иметь дело уже не с ним!

Со своей стороны я почувствовала, что удача прямого попадания к высшей власти не будет мне сопутствовать каждый раз. Ничего не застраховывало меня от отказа в следующий раз или от ограничений при новых просьбах. Я сделала последнюю дерзкую попытку: «По крайней мере, запишите в моем досье, что я гражданка Швейцарии, чтобы мне не чинили препятствий при продлении моего Ausweiss'a».

Он выполнил мою просьбу, и это оказало мне впоследствии огромную помощь. Конечно же, мне нужно было каждые шесть недель являться в Пуатье. Но младший офицер или просто служащий префектуры, занимавшийся выдачей пропусков, всякий раз видел в досье напоминание о моей национальности. Чаще всего это было простой формальностью. Через несколько недель — где-то в середине 1941 года — мой пропуск продлили сразу на три месяца.

Итак, я вышла из префектуры с пропуском. Я могла ездить в Шовиньи, и это было главное. Благодаря велосипеду и прицепу я могла наконец привезти домой все, чего не хватало в Боне. Каждую неделю я закупала глыбу масла весом в 10 кг, шестьдесят ломтей ветчины, пакеты кофе… На пропускном пункте, устроенном в конце моста, хорошо знали маленькую Маити! Я проходила через него несколько раз в неделю.

Обязанность снабжать Бон провизией, отказ ограничиваться жизнью на одном берегу, желание помочь, необходимость служить посредником — все заставляло меня постоянно пересекать Вьенну. Регулярно и, прежде всего, естественным образом, ибо это было главным вызовом тех лет: мои постоянные переходы не будили ни малейшего подозрения. У меня было два козыря: возраст и немецкий язык. Благодаря длинным золотым локонам я казалась моложе моих восемнадцати лет, к тому же я старалась выглядеть как можно более ребячливой и беззаботной. Глуповатая девчонка не могла быть звеном движения Сопротивления оккупантам. Кроме того, разговорный немецкий

дал мне легкую возможность завязать связи с солдатами. Могу даже сказать о некоем сговоре. В моем уме этот сговор нисколько не означал какой-либо симпатии с моей стороны к людям, бывшим явными врагами. Это была всего только хитрость, предназначенная для того, чтобы победить любой ценой. Мне следовало, однако, понять, что такой подход не всеми будет понят.

Конечно, девятнадцать жителей Бона, прекрасно меня знавших, не видели ни малейшей двусмысленности в моем поведении и не сомневались, что все мои действия имеют единственную цель — помочь им.

Однако я не смогла избежать того, что некоторые люди путают проявление сообразительности перед лицом врага с проявлением хитрости в сговоре с ним.

Да, я разговаривала с немцами; хуже того, я была с ними приветлива, я им улыбалась, значит, я была на их стороне. Конечно, все это я узнала только после войны. У некоторых даже хватило честности после освобождения признаться мне в таких мыслях и попросить у меня прощения. Я еще вернусь к этому. Во время оккупации я оставалась в полном неведении обо всем, и это было к лучшему. У меня хватало забот с тем, что могли узнать немцы, не хватало еще беспокоиться о том, что думают обо мне некоторые французы.

Сомнение было нашим самым коварным врагом в то сумрачное время. С течением лет, по мере удаления от событий, тень и свет стали различаться со все большей уверенностью, граничащей с упрощенчеством. Верное суждение — самое трудное, когда находишься в центре событий, ошибочное же суждение приходит с наибольшей легкостью. Я это испытала на себе.

В первые недели оккупации я попыталась защитить моих друзей Вержи. Их замок заняли немцы. Вержи этого не хотели и не просили! Подобно нам, они не могли воспрепятствовать присутствию оккупантов.

Как мэр Бона, Ангерран де Вержи должен был стараться действовать так, чтобы все происходило наилучшим образом, чтобы над населением как можно меньше издевались. Для этого следовало разговаривать любезно, изыскивать соглашения и, желательно, выглядеть довольным. На его предприятии в Сюзе работало двести пятьдесят рабочих. Сохранение их рабочих мест также было его долгом. Вержи были патриотами до глубины души. Они сохраняли приличествующий такой семье облик, и это позволяло им постоянно помогать людям, в особенности самым обездоленным. Из смирения они никогда ни слова об этом не

говорили, и я глубоко уважала их скромность.

Позднее, в шестидесятые годы, напиток из корней горечавки (который изготовляли на фабрике Вержи) был запрещен, и у семьи Вержи возникли большие финансовые трудности. Им пришлось отказаться от марки и продать замок Туфу, который с 1923 года был причислен к историческим памятникам. Кажется, в 1968 году замок купила вдова американского издателя Дэвида Огилви.

Часто я приходила в полдень в Туфу позавтракать с мадам де Вержи. Поскольку она не говорила по-немецки, ее управляющий или я служили ей переводчиками. Замок переполняли солдаты. Хозяйка замка составила список всего, что они у нее просили, и всего, что она хотела им сказать по поводу правил поведения, которые, как она надеялась, они должны были соблюдать, живя у нее в замке, а мы переводили для обеих сторон требования одних и просьбы других.

Так я начала приносить пользу, играя роль переводчика и посредника. С первых дней установления демаркационной линии Вье Ложи превратилось в бюро жалоб и информации. Вот семья землепашцев в отчаяньи, потому что у них реквизировали единственную лошадь, другая семья, лишившаяся доступа к собственному полю, оказавшемуся по ту сторону демаркационной линии, семья, попросту не понимавшая требования немцев, высказанного угрожающим тоном… Была также одинокая женщина, не сумевшая получить продовольственную карточку.

Я отправилась защищать их дела в суде. И здесь сочетание уступчивости и сопротивления оказалось полезным, так как чаще всего я получала то, чего просила.

— На что это похоже, забирать у людей их скотину? Она им нужна, они без нее работать не могут, — объясняла я ответственным за зону. Начальство тревожилось, что люди могут использовать лошадей для перехода в свободную зону. — Вам достаточно каждый день считать животных, чтобы убедиться, что они все на месте.

— Хорошая мысль. Я об этом не подумал, — ответил мне один из них.

— Посмотрите на них, это люди необразованные. Они не занимаются политикой. Им наплевать на войну. Они хотят просто мирно работать. А вы-то, что вы выиграете, если поля останутся необработанными? Сразу видно, что вы не деревенские люди. Вы же ничего не понимаете ни в ритме сельского хозяйства, ни в его нуждах — говаривала я часто. Таким образом удавалось избежать реквизиций. Люди были мне благодарны.

Для того, чтобы продолжать ходатайствовать, предвосхищать

притеснения и ущемления прав местных жителей и препятствовать этому, нужно было постоянно поддерживать иллюзию доверительных отношений с немцами.

Как ни странно, проще всего это было с теми, кто жил в нашем доме. Нашими вынужденными гостями чаще всего оказывались офицеры высоких чинов, то есть люди из хорошей среды, получившие светское воспитание. Это имело значение, в особенности для моей бабушки — ей было важно, чтобы люди были обходительны и соблюдали правила вежливости. Конечно же, не было и не могло быть согласия, но отношения были корректными, нередко достаточно теплыми. В Вье-Ложи существовало примерно то же социальное взаимопонимание, что сближало Пьера Френе и Эриха фон Строхайма в «Великой иллюзии», великолепном фильме Жана Ренуара.

Важнее всего было задобрить немцев с контрольного поста в конце моста через Вьенну. Ведь я каждый раз должна была останавливаться, чтобы показать документы и разрешение на пересечение демаркационной линии.

Я пользовалась этим и каждый раз вступала с ними в беседу. Для них война была чем-то маленьким и скучным, время тянулось долго, и они были рады с кем-нибудь поговорить.

Разумеется, я говорила с ними по-немецки, тогда получалась настоящая беседа, мы не просто перекидывались парой слов. Я играла на самых тонких струнах их души, расспрашивая о семьях, о тех, кто им дорог, женах и детях, от которых они были так далеко. «Вам не слишком трудно? Вы, наверное, так скучаете! Получается им писать?» Вызывая у них жалость к самим себе, я надеялась, что тогда у них появится больше понимания и сочувствия к нашему положению. Я хотела, чтобы они поняли, что война тяжела и трудна для всех. Я хотела пробудить в них сострадание. Усыпляя их бдительность, я, в первую очередь, стремилась оградить себя от каких-либо подозрений, чтобы спокойно продолжать свое дело.

Так и произошло… И слава Богу! Ведь суть моих поездок в Шовиньи постепенно изменилась. По-прежнему нужно было доставлять в Бон необходимые продукты, но теперь дело этим не ограничивалось. «Не хлебом единым жив человек». Он нуждается в средствах, чтобы жить. Но он нуждается также в том, чтобы знать, зачем жить. Он должен питать свое тело. Но он также должен отстаивать свои основания для существования и надежды.

Итак, вскоре мне стали давать письма для передачи. Письма, которые члены семьи, жившие в оккупированной зоне, хотели переслать родным, находившимся в свободной зоне. Первое время просто, чтобы обменяться новостями. Затем, чтобы организовать

возможность встречи. Эти письма были бы уже более компрометирующими в случае, если бы они попали в руки немцев.

Через несколько недель появились члены первых подпольных групп, еще не называвшихся Сопротивлением, искавшие возможности передачи информации. Жители деревни, зная, что я могу перебраться через реку, начали звонить у ворот Вье Ложи. Они даже не скрывались, т. к. в большинстве писем, которые я должна была передать, не было ничего политического.

Однажды днем, по-моему, это было осенью 1940 года, в ноябре, насколько я помню, к нам постучались три незнакомых мне человека.

— Вы Маити Гиртаннер?

— Да. А вы кто?

— Мы работаем в префектуре в Пуатье.

Я вздрогнула. Сообщение означало, что они работают на немцев, это подтверждало мое впечатление, крайне неприятное, потому что держались они высокомерно. В течение нескольких секунд в моей голове пронеслись все сценарии происходящих событий. Впрочем, ничего особенно компрометирующего я не сделала, но я представила себе, что в комендатуре узнали о том, что я передаю письма, и пришли потребовать отчета.

Они жестко велели мне отойти от входной двери и загнали в угол гостиной. Я очень старалась не дать им увидеть, как я волнуюсь. Тревога моя возросла, когда один из троих снова заговорил:

— Мы знаем, что вы регулярно переходите демаркационную линию.

Я постаралась выдержать его взгляд.

— Я — швейцарская гражданка. Следовательно, я свободна передвигаться, куда захочу. Вот мой паспорт и разрешение, подтверждающее мои права.

Его явно не интересовали мои бумаги.

— Мы знаем, что вы передаете письма.

Вот тут важно было не ошибиться — или они знают, и я не должна выдать мою тревогу, или они блефуют, и я не должна попасться в ловушку.

— На каком основании вы это утверждаете?

Им было что-то между тридцатью пятью и сорока годами.

Старший, явно пользовавшийся уважением товарищей, ответил:

— Некоторые письма были адресованы нам и нашим друзьям, и мы знаем, что «почтовым ящиком» были вы. Другой добавил:

— Мы — франко-французы[17].

Признаюсь, что после стольких усилий, потраченных на то, чтобы никак не проявить свои чувства словами или поведением, я не смогла удержать возглас изумления. Итак, это были участники Сопротивления! Я приняла осторожность за высокомерие! Прежде чем начать говорить откровенно, они хотели проверить меня, оценить мою реакцию. После этого они сразу расслабились, и я почувствовала облегчение. Мы сели в гостиной. Немцев не было дома, и, если не случится ничего непредвиденного, они не должны вернуться до ужина. Мы беседовали долго, очень долго. Они объяснили, как пытались через префектуру получать информацию, которую передавали друзьям, оказавшимся по стечению обстоятельств на правильной стороне от демаркационной линии.

— Согласитесь ли вы, вы и ваша семья нам помогать? — спросили они.

— Моя семья тут совершенно ни при чем. Мне всего восемнадцать лет, но вы беседуете со мной, и я одна беру на себя эту ответственность. Итак, если я могу быть полезной, я принимаю ваше предложение.

Что касается помощи, в настоящее время речь шла только о передаче бумаг, документов; о переправке людей пока речь не шла.

— А как вы обходитесь с обыском на контрольном пункте?

— Меня ни разу не обыскивали.

— Ни разу?

Они не верили своим ушам. Как могло быть, чтобы на стратегически важном пограничном посту регулярно пропускали без обыска кого-либо, пусть даже миловидную и наивную девушку? Я поведала о своих уловках. Мое «колдовское зелье» варилось из двух ингредиентов: юность — залог невинности и беглый немецкий — залог доверия. Я сказала, что я оказалась одним из немногих, если не единственным человеком, понимающим, что говорят немцы, и которого немцы могли понимать. При каждом переходе через границу на другой стороне моста я заходила в постовую будку, чтобы поговорить с солдатами. Я непринужденно ставила велосипед и прицеп прямо перед дверью будки, чтобы показать, что мне нечего скрывать и я ничего не боюсь, чтобы солдаты привыкли к тому, что мои приезды и отъезды совершенно естественны. Кстати, я специально старалась бывать в Шовиньи как можно чаще, чтобы солдаты не заметили изменения в длительности и порядке моих переездов. У меня всегда было алиби: главное, пропитание для жителей Бона, но также занятия на курсах по подготовке к сдаче второго экзамена на аттестат зрелости.

Я могла также сослаться на занятия музыкой, хотя в основном продолжала брать уроки у парижских учителей.

Поставив велосипед, я входила в будку и заводила разговоры с солдатами. Я задавала им кучу вопросов о них самих и об их семьях.

Я им слегка сочувствовала: «Должно быть, вам очень тяжело быть так далеко от жены, от родителей. У вас есть известия от них? Вы им пишете?» Надо признаться, солдаты бывали растроганы, что житель оккупированной страны в кои-то веки не смотрит на них враждебно и даже проявляет к ним интерес. Несомненно, я возбуждала в них симпатию, что было одновременно затруднительно и полезно. Население деревни, конечно, бывало шокировано, видя в моем поведении связь с врагом. Но большая часть людей была со мной знакома и знала, что все это я делаю для того, чтобы быть им полезной.

И, прежде всего, неизбежное пятно на моей репутации не имело никакого значения по сравнению с возможностями, которые я, благодаря общению с солдатами, получала.

Когда бойцы Сопротивления предложили мне участвовать в их деятельности, я уже несколько недель ездила на велосипеде через демаркационную линию. Я заверила их, что меня ни разу не обыскивали. Так было во все время оккупации. Это было для Сопротивления достаточной гарантией, и они предложили мне доставлять письма и документы в свободную зону. Тогда я сделала почтовый ящик для Сопротивления. На ограде Вье Ложи я приделала два почтовых ящика — один побольше и другой поменьше. Это был шифр, которым пользовалось большинство групп Сопротивления. Наиболее важные документы клали в большой ящик, более заметный, следовательно, менее подозрительный в глазах немцев. Однако один немец допросил меня по поводу ящиков.

«Но это очень просто, месье, — объяснила я. — Мы хотим быть в курсе событий, поэтому подписались на журналы. Но, вы сами видите, они не влезают в маленький ящик. Поэтому я сделала второй, побольше». Мое объяснение его вполне удовлетворило. Как и при переходе пограничной линии, спокойствие было залогом успеха, так что я не пыталась прятаться, когда брала письма. Напротив, я перед солдатами радовалась, что получила так много писем. Я объяснила им, что у нас полно родственников по всей Франции, что было правдой, и, само собой, в Швейцарии. «Война разделила меня с друзьями. И я должна им писать», — говорила я. Я снова вижу снисходительную улыбку офицера, отвечавшего: «Верно. Вы, молодые, все время проводите за писанием писем. У нас в этом возрасте было то же

самое». Для более любопытных я изобретала истории, будто бы содержавшиеся в письмах. Тем временем я незаметно переворачивала каждый конверт. Я знала, что на обороте конверта, содержащего особенно важные документы, будет пометка «ценное». Для передачи сообщений, документов и даже денег у меня было два помощника: велосипед и прицеп. Я всегда ездила на велосипеде. Я с детства привыкла ездить по всей нашей области, в Пуатье, в Шателлеро, покрывать километры на велосипеде, взбираться на холмы. Надо признаться, я отличалась отменным физическим здоровьем, но я никогда не представляла себе, что проведу месяцы и месяцы, взгромоздившись на седло, почти не слезая с велосипеда, что буду уезжать гораздо дальше Пуату, что руль увезет меня в Париж, Амьен, Нант или в Биарриц. Что мой велосипед преодолеет столько километров железных дорог и асфальтированных шоссе, что он будет часто ездить поездом, подниматься в кузов грузовика или на прицеп трактора. Мой велосипед, без сомнения, — главный герой моей истории.

Было ли это предчувствием? Я купила этот велосипед за три дня до объявления войны. Мы знали, что война неизбежна, но никто, а я тем более, не знал ни дня, ни часа ее начала, так что в этой покупке не было никакого расчета. Я просто скопила за несколько лет небольшую сумму денег. Это был женский велосипед, с косой рамой, зеленого цвета, моего любимого. Цвета надежды. В добавок к велосипеду я купила два запасных колеса. В обычное время в них не было надобности, но избыток предосторожности оказался очень полезен. С приходом немцев я спрятала колеса в погребе, чтобы их не реквизировали. Велосипед тоже нуждался в защите. Немцы всегда старались отобрать их, иногда для личного пользования, но в первую очередь, чтобы помешать французам ими пользоваться, или попросту убежать.

— Вы должны заявить о наличии у вас велосипеда, — сказал мне однажды солдат.

— Зачем? Вы же видите, я им пользуюсь каждый день. Он мне необходим, чтобы посещать занятия.

— Но вы же знаете, что находитесь на демаркационной линии.

— Ну и что?

— Значит, Вы можете им воспользоваться, чтобы драпануть. Я правильно сказал по-французски «драпануть»?

Меня задела его грубость.

— Где вы взяли это слово? Это арго.

— Что такое «арго»?

— Это слова, которые не употребляют хорошо воспитанные люди.

Он не настаивал. В дальнейшем никто не беспокоился по поводу моего велосипеда. Мне надо было вести себя похитрее, поосторожнее с прицепом. Война вызвала к жизни прицепы. Ближайшие магазины опустели, тракторы и лошади реквизированы, бензин нормирован. Все это сделало прицеп необходимостью. Наш болтался в глубине подвала. Несколько взмахов тряпкой, чтобы стереть пыль, и вот он уже привязан к моему с иголочки новому велосипеду. Пока речь шла только о том, чтобы подвезти масла или ветчины из Шовиньи, никаких проблем не возникало, но письма, посылки? Мастерица на все руки, я сделала двойное дно с помощью дощечек, тщательно выпиленных и закрепленных на глубине десяти сантиметров. Я выбрала старые досочки, чтобы избежать всякой новизны в устройстве. Снаружи невооруженным глазом невозможно было увидеть и догадаться о разнице в высоте прицепа.

Вот таким образом большое количество писем, документов и посылок и даже крупные суммы денег пересекали демаркационную линию долгие, долгие месяцы. На пограничном посту на мой груз солдаты, как правило, бросали беглый взгляд, хотя и не всегда, поскольку испытывали ко мне симпатию. Но не следовало дразнить гусей. Я прибегла к хитрости. Я знала, что немцы маниакально любят чистоту. Войдя в комнату, они начинали принюхиваться. Малейший неприятный запах, любая небрежность их раздражали. Я нарочно оставляла в прицепе грязные вещи: одежду, жирную бумагу, протухающие остатки пищи. Это зрелище вызывало у них отвращение, и они не обыскивали меня, стремясь, чтобы я поскорее от них удалилась. Те из них, кто за первые пять недель начали меня узнавать, говорили: «Мадмуазель Маити, как можно быть такой неряхой!»

— Я знаю, мне мама все время это говорит, — отвечала я со смущенным видом. Минимум логики должен был заставить их насторожиться. Можно ли было поверить, что швейцарская девушка не имеет в крови чувства порядка и чистоты? Но во время оккупации логика встречалась нечасто. К счастью. Сколько раз рискованные объяснения должны были натолкнуться на здравый смысл! Но трудно было себе вообразить, как велика была наивность немцев.

Глава 4
В ста метрах — свобода

Было это в июле или в августе? Я уже не помню, но их лица я запомнила навсегда. Их было двое — высокие мужчины, лет под сорок. Было утро, и я сидела на террасе, созерцая спокойное течение Вьенны, казалось, не сознававшей, что она стала непреодолимой преградой между двумя Франциями, одной, еще свободной, и другой, уже под строгим надзором немцев. Яркое утреннее солнце, казалось, тоже бросало вызов теням, павшим на страну. Я повернула голову на шум грузовичка и увидела двух мужчин, приближавшихся к ограде Вье Ложи в том самом месте, где тремя месяцами раньше я увидела первых немецких офицеров, выходящих из грузовика. Эти тоже были офицерами, как они расскажут позже, но прежде чем они открыли рот, я поняла, что это французы. Поношенная одежда (военные брюки и плохо застегнутые рубашки), усталый, даже изнуренный вид.

— Мы хотим перейти в запретную зону, — сразу же заявили они без обиняков. Жестом и взглядом, пресекающим всякие возражения, я запретила им продолжать. В это время дня немцев уже не было дома, но никогда нельзя знать наверняка. Необходимость осторожности была для меня очевидна. Никогда не говорить, не удостоверившись, что тебя не слышат, — это было первое правило участника Сопротивления, а я уже становилась им, еще сама об этом не зная. Я пригласила их в гостиную.

— Вьенна находится в запретной зоне или в свободной? — спросил один из них дрожащим голосом. Я снова попросила их успокоиться и для начала рассказать мне, кто они и как сюда попали. Это действительно были французские офицеры. Их арестовали в первые дни войны и привезли в лагерь для военнопленных в нескольких километрах от Страсбурга, служивший первым этапом для отправки в Германию. Этот лагерь был как бы сортировочным для пленных. Оттуда они убежали и пешком добрались до Парижа. В Париже они встретили друзей нашей семьи и сказали им, что хотели бы перейти в свободную зону. «Дом Руньонов как раз на демаркационной линии. Насколько мы знаем маленькую Маити, было бы странно, если бы оказалось, что она не может помочь в таком деле», — так ответили им мои друзья. Через несколько дней эти люди позвонили в наши ворота.

— Есть ли возможность перейти? — был их следующий вопрос. Когда я объяснила им, что за рекой еще 1,8 километра

запретной зоны, второй офицер опустил голову и пробормотал: «Значит, все пропало».

Мне всегда очень не нравилось, когда люди признавали себя побежденными. Может быть, лицо этого упавшего духом человека решило дело.

— Да нет, не все пропало. Вы прошли пешком сотни километров. Вы не имеете права опускать руки, когда почти достигли цели. Для начала я вас спрячу, и у нас будет время подумать.

Не долго думая, я отвела их в подвал. Нечего было и думать оставлять их в доме, куда в любой момент могли вернуться немцы. Офицеры обычно возвращались поздно, перед сном, но денщики часто появлялись и днем.

В погребе я предупредила пришедших: «Главное, не двигайтесь, не высовывайтесь. Я сейчас принесу вам поесть».

На террасу я вернулась с колотящимся сердцем. От волнения и жарких лучей полуденного солнца на лбу у меня выступили крупные капли пота. Что делать? В какое приключение я ввязалась? Как перевести их на другой берег? Ведь солдаты наблюдают за каждым метром пути. Хватит ли у меня духа, чтобы рисковать и, особенно, чтобы подвергать риску других людей? В голове теснились вопросы. Все произошло так быстро, что у меня не было времени подумать, как следует вести себя, если что. Но теперь они были здесь. Двое мужчин, хотевших защищать честь своей страны, и жизнь их была отныне в моих руках. Ибо было ясно, что если они опять попадут в руки к немцам, с ними будет покончено. Странно, но осознание своей ответственности принесло мне чувство уверенности, которое я сохранила до конца войны. Не скажу — спокойствия, так как я боялась, и страх меня никогда не оставлял, но была уверенность, возникающая от сознания необходимости выполнить свой долг, вера в другого, в Бога.

Эти двое пройдут запретную зону. Я в этом тайно поклялась, — но не сегодня. Это слишком рискованно. Никаких импровизаций. Прямо из дома переходить нельзя. Нас будет видно отовсюду.

Итак, я отправилась на велосипеде по тропе, идущей вдоль Вьенны. Доехав до речного поворота в направлении Шовиньи, я вернулась. Отсюда не видно ни дома, ни сада, ни деревни. Значит, здесь мы и попытаемся. И ни в каком другом месте. Выше по течению мы попали бы под надзор часовых, стоявших в Боне. В восьмистах метрах оттуда стояла еще одна группа немцев. Всю войну я совершала переходы здесь.

Вернувшись домой, я натолкнулась на бабушку. Понятно, я

никому не сказала ни слова, но я сразу почувствовала, что бабушка поняла.

— Зайди-ка через часок в мою комнату, — бросила бабушка, — поговорим.

Я уже взяла в свои руки организацию жизни в Вье Ложи, но бабушка была здесь хозяйкой, и я ожидала упреков. В указанный час я вошла в комнату.

— Дорогая внучка, я здесь хозяйка, и я распоряжаюсь всем. Ты не можешь принимать важные решения, не уведомив меня. Расскажи подробно, в чем дело? — Тон был сдержанным, но в ее глазах я уже читала что-то вроде одобрения. Я сказала ей все: от помощи, которую оказывала жителям деревни, до прихода двух офицеров. К концу рассказа я предчувствовала, каков будет ответ, но несколько секунд молчания показались мне долгими. Бабушка пристально посмотрела на меня. Затем, наклонившись ко мне, она сказала: «Я согласна. Мы их спрячем. Позаботься о местах общего пользования. Можешь на меня рассчитывать».

Рассчитывать на нее — значит быть уверенной в ее поддержке и полном молчании. С этой минуты я полностью управлялась сама. За все время войны мы больше ни разу не говорили о моих делах открыто, в этом не было необходимости. Я знала, бабушка понимает, что происходит; она знала, что ее молчаливая поддержка — моя лучшая опора. Иногда она предупреждала меня: «Будь осторожна» или «Осторожно, ты ставишь себя в трудное положение», но она ни разу не задавала мне прямых вопросов и, тем более, никогда не отговаривала от действий. Это молчаливое сообщничество было путеводной нитью в моей деятельности на службе Сопротивления. Ни моя мать, ни тетя не замечали передвижений вокруг нашего дома. Так было лучше для безопасности тех, кого я должна была переправить, а также безопасности моих близких и моей собственной. Пока я возвращалась из разведки вдоль берега Вьенны и объяснялась с бабушкой, мои офицеры ждали в погребе. Они тряслись от страха. Достаточно было увидеть, как они вздрогнули, когда я открыла дверь. А я обрела спокойствие.

— Успокойтесь, я вас переправлю. Но не сегодня вечером. Я приду за вами завтра утром. Теперь не двигайтесь и, прежде всего, не выходите из конюшни.

Лошадей всех реквизировали, но по случайности осталась солома, на которую можно было прилечь. Я принесла офицерам одеяла, подушки, а главное, хлеба и всякой еды. Перед тем, как лечь, я вернулась на террасу. Мне не спалось. Смесь страха и возбуждения мешала уснуть. Всю ночь я снова и снова проделывала предстоящий путь. Мой страх был практического, а

не морального порядка: что делать, если мы встретимся с немцами? Больше не было времени спрашивать себя, хорошо или плохо я поступаю. Уверенность крепко сидела в моей голове, сердце и душе: я не могу бездействовать. Глядя на постепенно утопающую в темноте Вьенну, я слышала, как во мне начинают звучать слова Христа, обращенные к Отцу в ночь перед Страстями: «Из тех, которых Ты мне дал, Я не погубил никого» (Ин 18:9). В это мгновение я еще не знала, скольких людей Господь мне доверит, но ни один не должен погибнуть по моей вине.

Рано утром я пошла к ним в конюшню.

Было видно, что они тоже не спали этой ночью. Я приготовила им очень крепкий кофе, двойную порцию.

Наступило время для последних инструкций.

— Сейчас мы пойдем. Я хочу вас перевести одного за другим. Оставьте мне все ваши бумаги, деньги, медали и ценные вещи. Вы найдете их завтра у человека, которого я вам укажу. — Взяв у них документы, я увидела, что одному из них сорок, а другому сорок пять лет. Вот вам и подробности!

Но самое трудное было в другом. Прежде всего нужно было, чтобы они выдержали испытание и не поддались страху, пока не окажутся на той стороне демаркационной линии.

— Даже если вам страшно, старайтесь этого не показывать. Если мы кого-нибудь встретим, абсолютно необходимо, чтобы у вас был естественный вид.

— Легко сказать, — возразил один из них, державший чашку с кофе дрожащей рукой. — Постараемся выглядеть, как близкие друзья. Если понадобится, не стесняйтесь изобразить близость, сделать не принятые в обществе жесты; например, обнимите меня за плечи. А если увидите немцев, я вам разрешаю даже сделать вид, что вы меня целуете. — Только сделать вид. Ничего другого я не ожидала. Следует признать, что в восемнадцать лет я еще ни разу не целовалась с мальчиками. Я не имела ни малейшего представления, каким образом это делается! Перед выходом я их спросила: «Вы христиане?» Несколько удивленные моим вопросом, они поглядели друг на друга и старший из них ответил: «Я был католиком».

— Хорошо, постарайтесь стать им снова. Может быть, Вы оставили Господа, но Он, Он Вас не оставил. Сейчас время о Нем вспомнить. — Тому, кто оставался ждать, я посоветовала изо всех сил молиться за друга, которого я должна была перевести первым. И он это сделал.

Я всегда задавала этот вопрос. Разумеется, это не было условием для того, что я собиралась сделать. Сущность

благодеяния, в прямом смысле слова, — богословское понятие Caritas — отдавать себя даром, дарить. Я ставила этот вопрос для них, для этих людей, чтобы в моих словах они черпали силу, которой в себе не подозревали. Пусть они узнают или обнаружат, что в решающий момент своей жизни они были не одни. Пусть знают, что в минуту, когда их шаги станут колеблющимися, Кто-то пойдет впереди них, открывая им путь уверенности. После войны я повидала немногих из них, и, конечно, я не могу знать или судить о пути Господа в их сердцах, но некоторые приехали в Бон повидаться со мной через пять, а то и через десять лет. Многие поведали мне, что благодаря моему простому вопросу они испытали настоящее духовное потрясение.

Момент выхода приближался. По моей просьбе они отдали мне свои деньги. У них были с собой деньги, и они попросили меня принять от них плату за помощь в переходе границы. Я категорически отказалась. Я ни разу не взяла ни сантима за действия в Сопротивлении. Материальное бескорыстие было естественным следствием нравственного бескорыстия нашей деятельности. У меня ни разу не было ни доли сомнений, ни малейшего соблазна в этом вопросе. После войны я узнала, что кое-кто брал деньги за свою помощь. Это удручает, но я не хочу их судить — в конце концов, я не страдала от материальных трудностей. Другие, кому было трудно свести концы с концами, может быть, заключали маленькие сделки с совестью, оставаясь при этом искренними патриотами.

Мы вышли из дому в половине десятого. Я помню время, потому что дозоры немцев были точны, как линейки на нотной бумаге — 8 часов, полдень, 16 часов, 21 час. Не без пяти восемь или восемь часов пять минут, а ровно восемь. Значит, надо было проскочить в промежутке. Была прекрасная погода, что неудивительно, так как стояла середина лета. Мы шли по дороге вдоль Вьенны, которую я прошла накануне вечером. Все шло хорошо, как вдруг невдалеке мы заметили немцев. Это не был обычный патруль, тем не менее это были солдаты из деревни. Я потащила моего спутника на посадки земляной груши, тянувшиеся вдоль поля. Мы отошли на три-четыре метра от дороги и залегли среди земляных груш, высотой около полутора метров. Немцы прошли довольно далеко от нас, но нечего и говорить, что сердца наши сильно колотились. Ожидание длилось всего минут двадцать, но лежать двадцать минут, не двигаясь, ожидая, что вас могут заметить, схватить и взять в плен, — это долго, очень долго! Переждав опасность, мы снова зашагали, но ноги дрожали больше, чем раньше. И наконец, мы подошли к излучине Вьенны, откуда нас больше не было видно из Бона, но

где река имела ширину в несколько сот метров. В этом месте мы переплыли реку полностью одетые. Я была хорошей пловчихой, что очень пригодилось, потому что здесь было особенно сильное течение. Я постоянно плавала по Вьенне, но в этот раз мое дыхание было короче, усилие было большим: ясное дело — страх. На другой стороне реки я показала ему, куда идти дальше.

— Сверните направо. Налево вы попадете к немцам. Бегите, бегите как можно быстрее до дерева, которое увидите там, в сотне метров. Там вы окажетесь в свободной зоне. — Можно сказать, это было дерево свободы. Я смотрела, как он бежал. Все для него закончилось хорошо.

Прежде чем переправить его, я попросила, чтобы в Шовиньи он зашел к одному больному фотографу, которому я давала уроки фортепиано. У его дома было большое преимущество: он был расположен у входа в деревню. Мой спутник не мог бы незаметно пересечь центр города в грязной одежде под изумленными взглядами жителей. Нечего и говорить, что у меня не было времени предупредить фотографа, но я знала, каковы его убеждения, и могла не сомневаться, что он придет на помощь французскому офицеру, стремящемуся вновь включиться в борьбу. Так оно и получилось в данном случае. Фотограф принял его без единого вопроса и спрятал в своей комнате, пока через день я не принесла его одежду и вещи.

Первый офицер перешел. Мне нужно было снова переплыть Вьенну и вернуться в Бон, чтобы забрать его товарища. Понятно, что я была вся мокрая, с меня текло ручьем. Я постояла несколько минут на солнце, чтобы слегка подсохнуть. Как объяснить немцам, если они меня застигнут в таком виде? Я решила сказать, что было так жарко, что я решила освежиться вся целиком.

Обратная дорога прошла благополучно, но я порядком тряслась от острого и внезапного осознания того, что я взяла на себя необдуманный риск. От пугающей перспективы, что я должна буду повторять те же действия шаг за шагом дальше. Усталость присоединилась к отрезвлению и привела к головокружению, не прекращавшемуся всю обратную дорогу. Добравшись до посадок земляных груш, я бегом пустилась домой и первым делом переоделась. Увидев, что я пью кофе на кухне, бабушка сделала мне замечание: «В твоем возрасте не пьют кофе среди дня». Затем, заметив, что меня лихорадит, более мягким тоном спросила: «Это тот человек?» — «Да, бабушка. Но есть еще второй». Она подняла глаза к небу, потом уселась в свое кресло в гостиной. Я услышала, что она молится. Я в своем сердце присоединилась к ее молитве и вернулась в конюшню за другим офицером.

Повторилось то же испытание: те же слова утешения и ободрения, те же практические советы, то же предложение отдать себя в руки Господа, тот же путь, тот же страх встречи с немцами, та же боязнь не достичь цели, та же усталость, когда переплываешь Вьенну против течения.

Я полагала, что этот второй раз будет последним. Я не представляла себе, что, напротив, он станет началом длинной серии подобных. Иначе, решилась ли бы я предложить свою помощь? Может быть, и нет. Несомненно, нужна была известная доля легкомыслия, чтобы кинуться в воду, в переносном и в прямом смысле этих слов. У меня всегда был волевой характер, естественная склонность брать дело в свои руки, стремление быть полезной другим. И потом был этот вечер; вечер, когда два человека пришли в Вье Ложи, и было утро, утро пересечения демаркационной линии; это был первый день. Первый день новой жизни. Рождение приключения, которое больше от меня не зависело.

Через день, как было условлено, я была на велосипеде у моего друга фотографа у въезда в Шовиньи, в прицепе были вещи офицеров.

В этот день я с моими офицерами не встретилась, но с безграничной радостью обнаружила через несколько дней в почтовом ящике открытку, подписанную обоими, опущенную в городе на юге Франции. Сквозь строки банальностей, выбранных, чтобы не возбуждать подозрений постороннего читателя, я прочла, что у них все хорошо.

В конце войны они прислали мне уже длинное письмо. Читая его, я с радостью сопереживала их отъезду в Северную Африку через несколько дней после перехода границы, их прибытию в Англию, где оборванные солдаты, которых я принимала в Боне, превратились в гордых офицеров Армии свободной Франции.

Переходы границы следовали один за другим. Я никогда их не считала. Сегодня, пытаясь подсчитать их число, я приближаюсь к сотне. В разгар оккупации, в 1941–1942 году, когда я жила в Боне и время позволяло, я проделывала четыре-пять переходов в неделю. Зимой я не «работала» — Вьенна была ледяной, и переплывать ее было рискованно. Зимой 1942 года река даже замерзла на несколько долгих недель. Может быть, можно было перейти по льду, но было очень скользко, и, не зная толщины льда, я не хотела слишком рисковать. Если бы мы провалились под лед на середине реки, мы вряд ли выбрались бы. Я также не переходила ночью, хотя ночь во многих отношениях могла бы быть нашей лучшей защитой. Но мои «клиенты», разумеется, не знали местности. На другом берегу Вьенны я уже не могла их

вести, и они рисковали, заблудившись, налететь на немецкий пост на границе.

Эти подпольные марши к свободе длились около трех лет, с лета 40-го до весны 43-го, когда, после захвата свободной зоны немцами 11 ноября 1942 года, демаркационная линия перестала действовать, а затем и открыто была ликвидирована.

Люди, стремившиеся перейти границу, передавали сведения обо мне из уст в уста. Они знали, что есть восемнадцатилетняя девушка, знающая хорошее место для перехода в свободную зону. Люди прямо, без малейших предосторожностей, звонили в ворота Вье Ложи, хотя и знали о присутствии немцев в доме. Постоянная смена оккупантов позволяла мне многократно выдвигать одно и то же алиби, если они заинтересовывались, задавали вопросы о посетителях. С ума сойти, сколько у меня было двоюродных братьев, племянников, учеников, желавших брать уроки фортепиано! В большинстве своем это были мужчины в возрасте от тридцати до тридцати пяти лет, очень редко это бывали одиночки. Также редки были целые семьи. Нужно было быть психологом только затем, чтобы успокоить их. Они готовились к переходу границы с большим опасением и надеялись, что найдут на месте солидное окружение, условия, которые их полностью успокоят. И что они видят? Восемнадцатилетнюю девочку с длинными светлыми локонами. Не раз я читала в их глазах, что они находят все это совершенно несерьезным. Некоторые прямо ставили вопрос: «Очень мило с вашей стороны, что вы нас приняли, но кто нас переведет?». Когда я отвечала, что я…

Многие прибывали, совершенно измученные долгими днями, когда приходилось все время идти или прятаться. Чаще всего это были французские солдаты после капитуляции, попавшие в транзитный лагерь для военнопленных недалеко от Тура. Там пленники ожидали отправки в Германию. Чтобы избежать отправки, многие пытались бежать и перейти в свободную зону. Вполне естественно, что многие из них оказывались поблизости от нашего дома. Нередко бывало, что после долгих дней тяжелых усилий решимость этих людей спотыкалась о последнее препятствие — переправу. Бесполезно было читать им нотации. Я, наоборот, старалась вернуть им сознание своей ценности, их высоких качеств и героизма, который они уже проявили. Чувство гордости помогало им преодолеть Вьенну.

Время от времени надо было их расшевелить. Например, когда, добравшись до берега Вьенны, они застывали в нерешительности, вместо того, чтобы переправляться через реку.

— Через двадцать минут ваша жизнь будет вне опасности. Вы что, собираетесь сейчас все испортить? Если не хотите сделать

усилие для себя, сделайте ради меня, ведь я тоже подвергаю свою жизнь опасности, приводя вас сюда.

У меня была и хитрость в запасе. Я спрашивала: «Вы принимаете лекарства?» Получив утвердительный ответ, я давала им аспирин, растворенный в воде. Аспирин обладает легким успокоительным эффектом. Если, исчерпав все силы, кто-нибудь заявлял: «Я больше не могу. Пусть лучше меня снова схватят немцы», — я говорила: «Выпейте сладкой воды» и потихоньку всыпала в стакан аспирин. Это действовало так хорошо, что количество неудач я могу пересчитать по пальцам одной руки.

Однажды некий англичанин меня по-настоящему напугал. Его сбросили на парашюте, чтобы он вошел в контакт с группами Сопротивления в свободной зоне. Но ветры, дующие с Атлантики — Бон расположен в 150 км от моря — отнесли его в сторону, и он приземлился в оккупированной зоне. Он был полностью дезориентирован, поранился при падении и не знал ни слова по-французски. Настоящий птенец, выпавший из гнезда. Он был в очень плохом душевном состоянии. Множество раз нам приходилось поворачивать обратно. Сколько возвращений назад, столько же возможностей встретиться с немцами. Три дня он прятался в конюшне Вье Ложи. Каждый раз я боялась, что он рухнет по дороге или убежит, сам не зная куда. Но в конце концов он перешел. Большинство умело плавать. Для тех, кто не умел, был ранен или слишком сильно пугался одной только мысли о том, что нужно переплыть реку, я вытаскивала мою лодку. В нее как раз помещался один человек, лежащий на животе. Лодка была привязана к тополю возле дома. Выкрашенная в белое, как все лодки в округе, она была очень заметна. Я не хотела перекрашивать ее в зеленый или коричневый, чтобы не возбудить подозрений — белизна была лучшим доказательством ее невиновности. Делать все естественным образом — это была моя постоянная стратегия. Я уже говорила об этом по поводу велосипеда. То же самое касалось и лодки. Мне нужно было только придумать алиби, чтобы оправдать постоянные переезды через Вьенну. Так что я еще раз отправилась в комендатуру, в маленькую деревню в Сен-Жюльен-ль'Ар. В этот момент вся моя родня с материнской стороны съехалась во Вье Ложи. Я была старшей из десяти двоюродных братьев и сестер.

— Нас сейчас восемнадцать человек, постоянно живущих в доме, — объяснила я офицеру. — Я, как вы знаете, учусь. Я должна сдать экзамен на аттестат зрелости. Как вы хотите, чтобы я занималась в доме со всеми этими детьми, постоянно орущими прямо мне в уши? Будьте так добры, дайте мне разрешение заниматься, плавая на лодке. Вы не беспокойтесь, я на тот берег

не поеду. У меня же есть пропуск в Шовиньи, а туда я езжу на велосипеде. — Все это по-немецки, что сразу же расположило в мою пользу солдата, ни разу до того меня не видевшего. Он дал мне разрешение на месяц.

— На месяц, вы шутите?

— Ладно, три месяца, — согласился торопившийся немец. Но я не собиралась на этом останавливаться.

— Это не серьезно. Снова приходить каждые три месяца, это и мне неудобно, но, прежде всего, вам. Полагаю, у вас достаточно других проблем. Что вам это даст, если я буду к вам приставать каждые три месяца? — Я почувствовала, что аргумент сработал, так как я ему явно надоела. Раздраженным жестом он шлепнул печать на бланк и протянул его мне. Я не поверила своим глазам, мне было дано постоянное разрешение плавать по Вьенне. На это я не смела надеяться.

Итак, для переправы через демаркационную линию я могла пользоваться лодкой. Но не злоупотреблять этим. Во-первых, потому что, несмотря ни на что, риск быть пойманной был больше, чем при пешем переходе. Но, прежде всего, потому что к этой излучине Вьенны нужно было грести против течения на протяжении почти двух километров, а это очень утомительно.

Я снова вижу перед собой пару, мужчина и женщина-еврейка, насколько мне помнится, и с ними ребенок семи-восьми лет. Он почти не умел плавать. Значит, сначала надо было их успокоить. Я, кстати, научила плавать всех моих младших кузенов. И я всегда старалась сделать так, чтобы нырять в воду было для них веселой игрой. Я прыгнула в воду первой и позвала мальчика ко мне присоединиться. Он колебался. Прежде всего, потому, что он боялся оставить родителей на берегу, а я решила перевести его первым. Родители его успокоили, и он последовал за мной. На другой стороне я помогла ему вскарабкаться по крутому склону и усадила под деревом. «Никуда не ходи, я пойду сначала за твоей мамой, потом за папой, а когда вы соберетесь вместе, вы возьметесь за руки и пойдете к той ферме, которую ты видишь вдали». Ферма отмечала конец ничейной земли и начало свободной зоны. Оба родителя боялись больше, чем сын. Следовало удвоить утешительные речи. И настоятельные тоже.

— Вы не имеете права заставлять вашего сына ждать дольше. Подумайте о нем, — пришлось мне сказать женщине, просившей отсрочки, чтобы перевести дыхание и прийти в себя. После всего я смотрела им вслед; они удалялись, взявшись за руки, как я посоветовала мальчику. На этот раз мое сердце было готово разорваться от волнения и чувства облегчения одновременно. От избытка нервного напряжения стучало в висках. Слезы выступали

у меня на глазах, и ноги дрожали, но меня пробудил внутренний голос. Раз уж я взяла на себя это дело, я не могла допустить, чтобы меня одолевали излишние чувства. Как требовать смелости от этих несчастных, по большей части находившихся на грани истощения, если я сначала сама ее не наберусь?

Мне пришлось перевести восемь или девять полных семей. С каждым разом волнение было сильней. Принять на себя ответственность за хрупкого ребенка, поддержать в тяжелом испытании его родителей или подставить плечо крепким парням, стремящимся стать актерами в разыгрывающейся драме, — понятно, что это не одно и то же. Но урок, полученный с первой семьей, помнился мне до конца войны. По крайней мере, ради них я должна была избегать излишней чувствительности.

Твердость, стойкость и даже, это следует сказать, жесткость были необходимы, чтобы сгладить страх людей, ожидающих переправы, ибо страх всегда присутствовал. Это не был вопрос возраста, пола или физической крепости. В этот решающий час никто не мог лукавить, лгать другим или лгать себе. Человек становился нищим и голым. И тогда же он становился подлинным и великим. На демаркационной линии все делались равными.

Глава 5
Гитлер канет, а Бетховен пребудет

Как я уже говорила, с началом войны мы переселились в Бон. Прежде всего, мне следовало закончить учебу. Первый выпускной экзамен я сдала перед отъездом, но оставался второй, не говоря уже об уроках фортепиано. Сказать откровенно, если продолжать занятия музыкой было для меня существенно важно и, осмелюсь сказать, жизненно необходимо, то продолжение школьных занятий меня мало волновало. Вступление в Сопротивление поставило передо мной новые требования. Здесь был мой долг. Я не видела другого, пока эта миссия не будет выполнена. В какой форме? Этого я не знала. У меня не было ни малейшего представления ни о том, сколько продлится оккупация, ни о том, какие формы примет борьба за свободную Францию, ни о месте, где мне должно находиться. Мне было очевидно, что я должна идти до конца в обстоятельствах, которые уже все определили за меня и в которых я ясно читала призыв Провидения. Итак, занятия… Я быстро поняла, что жизнь учащейся обеспечит меня идеальным прикрытием для другой деятельности, что учеба составляет великолепное алиби для регулярных поездок из Бона в Париж и обратно.

В первые годы я жила в особняке семьи Вержи, наших друзей и соседей по Пуату, которые владели замком Туфу. Наша квартира в Сен-Жермен-ан-Ле была предоставлена друзьям моих дедушки и бабушки, и, кроме того, была для меня менее удобна. В Париже де Вержи жили в доме № 45 на авеню Иена. Они предоставили мне комнату на втором этаже. Один из моих двух дядей жил в том же доме. Затем, сколько мне помнится, в начале 1943 года я переехала. Мои приезды в Париж в связи с деятельностью в Сопротивлении стали слишком регулярными, и близость площади Этуаль, где у немцев было много ключевых точек, стала слишком опасной, поэтому я переехала с авеню Иена на виллу Молитор на юге XVI округа к графу и графине де Бомон. Я к этому еще вернусь. Мое присутствие в Париже, даже не постоянное, было, следовательно, законным и, в любом случае, объяснимым.

Поездки между Вьенной и Парижем были очень частыми. В зависимости от времени года их частота менялась, но в целом проходило не больше пятнадцати дней между двумя поездками. Я часто ездила поездом. Люди, привыкшие к скоростным поездам, улыбнутся, услышав, что в то время нужно было шесть-семь

часов, чтобы добраться из Пуатье или Шателлеро до Парижа. Два последних вагона не были оборудованы креслами. В них можно было заходить с велосипедами, что многие и делали, включая меня, поскольку мне нужен был велосипед для преодоления двадцати километров, разделяющих Бон и Пуатье, а главное — для передвижения по Парижу.

В других случаях я пользовалась грузовиком семьи Вержи, постоянно бороздившим Францию для поставки в магазины бутылей с напитком «Сюз». Благодаря ему я могла, с одной стороны, снабжать хорошими деревенскими продуктами часть нашей семьи, оставшуюся в Париже, а с другой — перевозить в двух направлениях посылки и бумаги, нужные Сопротивлению.

Это было небезопасно, т. к. в дороге бывали частые проверки, а немцы всегда были очень подозрительны. К счастью, они были большими любителями «Сюз». При каждом контроле мы угощали их, и они уходили.

Каждый раз один ящик немцы забирали. Мы об этом знали. Мы сразу же выставляли на видное место несколько ящиков, отмеченных при погрузке красной меткой, поменьше прочих. В них было по шесть бутылок вместо обычных восьми. Прекрасно зная, что не имеют права их брать — они были бы сурово наказаны начальством, если бы это стало известно, — немцы не задерживались и, взяв ящик, отпускали грузовик, не обыскав его. Так это и продолжалось всю войну! Тем не менее… При каждой проверке нам было не по себе…

В Париже, как и в Боне, моя главная забота была перевести людей в свободную зону. В некоторых случаях задача состояла просто в том, чтобы получить Ausweiss вполне законным образом. Тут мой немецкий был чрезвычайно полезен, так как помогал легко убедить немцев.

Чаще всего я ходила на авеню Марсо, в административное бюро, размещавшееся в роскошных реквизированных апартаментах. Я приводила сотни аргументов, прося за молодых ребят, чтобы им дали возможность найти свою семью, поехать сдать выпускной или любой другой экзамен. «Может быть, у вас тоже есть внуки? Как бы вы отнеслись к тому, что они теряют школьный год просто потому, что не могут поехать сдать экзамен?»

Я умела быть убедительной, мне удавалось уговорить их каждый раз. Чем дальше, тем сильней я боялась, что не смогу убежать в случае надобности.

А между тем эти действия были очень простыми. Другие контакты были более рискованными, так как касались запрещенного. Я служила почтовым ящиком для передачи

фальшивых паспортов.

Я также должна была помогать людям, собирающимся пересечь демаркационную линию. Хотя большое количество людей стучало прямо в мою дверь в Вье Ложи, но многие другие пытались установить связь со мной в Париже, где мое имя циркулировало в некоторых кругах в Сопротивлении, тогда еще не носившем это имя.

Сперва, чтобы добыть им билет на поезд, надо было придумать причину поездки. Это занимало часа два. Я объясняла, что должна ехать с родным или двоюродным братом.

Дальше надо было отстоять двухчасовую очередь, чтобы получить сам билет. Но, попав в поезд, рано было думать, что дело закончено, ведь в поездах ходят контролеры. Французского контролера всегда сопровождали два немца, которые, на самом деле, брали все в свои руки. Однажды я применила стратегию, оказавшуюся весьма удачной. У меня был с собою огромный шарф, красный с коричневым. Им я обмотала голову юного англичанина, стремившегося перейти в свободную зону. Я приказала ему, как только контролеры подойдут к нашему купе, начать громко чихать. Потом сказала громким голосом: «Ну, старик, от этого насморка тебе никогда не избавиться!» И добавила самым раздраженным тоном: «Нет, это черт знает что, три дня он уже кашляет, не переставая». А немцы больше всего на свете боятся микробов. Все грязное, нездоровое, больное вызывает у них сильнейшее отвращение, настолько, что в подобных случаях они бросали мгновенный взгляд на мой швейцарский паспорт; я протягивала его настойчиво, чтобы у немцев не успела возникнуть мысль спросить моего соседа первым, и немцы спешили поскорей перейти в соседнее купе.

Из долгого путешествия в поезде я извлекала пользу, стараясь в беседе проверить моих подопечных, получше познакомиться с ними, чтобы увериться, что я не попала в ловушку. Мне было важно знать, проявляется ли у них страх через телесную слабость. Когда я ехала с такими спутниками, я выходила чаще в Шателлеро, чем в Пуатье, так как это маленький город и поэтому в нем и слежки поменьше.

В ноябре 1942 года отменили демаркационную зону. В некотором смысле Франция объединилась, но не в том направлении, какого мы желали. До сих пор позор разделения был также приглашением стоять до последнего. Нет, не вся наша земля стала немецкой собственностью.

Во власти режима Виши свободная зона была свободной только по названию, но, по крайней мере, сохранялась возможность объединяться и что-то вместе организовывать.

Каждая переправа через Вьенну была победой свободы. Каждый переход открывал новые горизонты. Оставалась надежда найти свою семью, присоединиться к какой-либо ячейке Сопротивления, подготовиться к переезду в Лондон. Я была в Боне, когда по радио объявили, что оккупационные силы заняли свободную зону. Чувство облегчения от того, что восстанавливается некоторая свобода передвижения, смешивалось с подавленностью от сознания, что граница свободы снова отступила. После стольких месяцев усилий нас затопила новая волна.

Официально демаркационную линию отменили несколькими неделями позже, в феврале 1943 года. Естественно, ряды желающих перейти поредели, затем они и вовсе исчезли. Могла ли я сказать себе, что моя миссия выполнена? Стратегическое положение Вье Ложи создало для меня ситуацию морального обязательства. Обязательство исчерпало себя в тот момент, когда исчезла демаркационная линия, но я даже не задавалась этим вопросом. Всякий перерыв в деятельности для Сопротивления был бы дезертирством. Я чувствовала это до глубины души. До сих пор я не знаю, сделала ли все, что было в моих силах. Одно было несомненно: Франция и ее население далеки от освобождения. Ясно, что борьба должна продолжаться в другом месте и в других формах. Несомненно, что в Боне стало меньше дел. Но в Париже!

Поворот в войне совпал по времени с моим переездом и устройством у графа де Бомон, на вилле Молитор. Граф Жан де Бомон был известной личностью. Хотя ему не было сорока лет, он уже сделал себе имя в политике. Он был депутатом от Кохинхины[18]. Как и огромное большинство депутатов (пятьсот шестьдесят девять против всего восьмидесяти), он голосовал за полную передачу властных полномочий маршалу Петену 10 июля 1940 года, но я могу свидетельствовать, что он не был на стороне немцев. Напротив, в полной тайне, он проявил ко мне большое великодушие и оказал поддержку действиям, которые я собиралась предпринять. После войны он сделал великолепную карьеру и сыграл большую роль в спортивных кругах. В качестве президента французского Олимпийского комитета он был одним из главных организаторов Олимпийских игр в Гренобле в 1968 году. Этот полный обаяния человек имел невероятный по объему круг друзей и связей. Он был, заметим, председателем Межсоюзнического клуба[19]. После войны я потеряла его из виду, но известие о его смерти несколько лет назад меня искренне огорчило. Ему было почти сто лет.

Я познакомилась с Бомонами через школу при монастыре «Уазо» в Париже. В этой школе я училась некоторое время и в нее

вернулась во время войны, чтобы подготовиться ко второму выпускному экзамену (о степени моего усердия в учебе можно судить по интенсивности моей деятельности в Сопротивлении). У графа и графини Бомон был один сын, Марк, и две дочери, Жаклин и Моник, для которых Бомоны искали воспитательницу. Мадам де Бомон сама воспитывалась в монастыре «Уазо» и обратилась в свою старую школу, уверенная, что здесь легко найдет девушку, получившую хорошее воспитание. К тому же, наши семьи были знакомы, так что меня взяли.

Итак, в мое распоряжение была передана комната в роскошной двухэтажной вилле Молитор, в зеленой гавани столицы, скрытой за кованой железной оградой, с тихими пустынными дорожками; в этом доме ты чувствовал себя, как в деревне, находясь в самом центре Парижа.

Я не стала скрывать от Бомонов, хоть и не вдавалась в детали, свою деятельность в Сопротивлении. Итак, их гостеприимство прежде всего служило мне прикрытием, не доставляя особых хлопот хозяевам. Они ни разу не задали мне ни одного вопроса, но наблюдали за мной благожелательно и бдительно.

Их великодушие было драгоценно для маленькой группы людей, стремившихся объединиться вокруг меня. Изредка случалось мне и принимать кого-то на вилле Молитор, но никогда больше, чем на одну ночь, и только если не удавалось найти другого решения, так как я не хотела привлекать к Бомонам внимание. С течением месяцев наша деятельность, сказать по правде, стала более заметной. Нам предстояло взять на себя заботу о наших скрывавшихся учителях музыки, которым было запрещено преподавать по той единственной причине, что они были евреями.

После принятия законов правительства Виши все преподаватели-евреи были в течение нескольких дней лишены права на преподавание. В Парижской консерватории их было много. Я тесно общалась с двумя из них, у которых брала уроки композиции — с Андре Блохом и Леоном Зигера.

Андре Блох был профессором гармонии, преподавал в консерватории с 1927 года. Он поступил туда через несколько лет после того, как мой дед Поль Руньон ушел на пенсию, но они знали и ценили друг друга, и мой дед порекомендовал меня ему.

Это был восхитительный человек. Жесткий в манере преподавания, но внимательный к каждому. Грубое увольнение его потрясло. Он стал жертвой антисемитизма в его самой ужасной и заслуживающей осуждения форме, приведшей, в конце концов, к «окончательному решению». Но, кроме того,

преподавание музыки было для него смыслом жизни.

Многие евреи, особенно из музыкальной среды, пытались уехать за границу, например, в Швейцарию или Соединенные Штаты.

Андре Блох не хотел уезжать — от усталости или из боязни, что у него не хватит сил на рискованную затею с эмиграцией, — я не знаю.

После того, как его уволили, я пришла к нему. «Учитель, — так я его называла, — наш фамильный дом стоит на реке Вьенне, прямо на демаркационной линии. Если вы захотите, я могу переправить вас в свободную зону».

«Спасибо, Маити, — ответил он с доброй улыбкой, в которой на этот раз сквозила усталая покорность, — но я не хочу, я не могу. Здесь я у себя. Я спокоен и в безопасности». В месяцы прелюдии к «национальной революции» Петена он не догадывался, что вскоре на родине прав человека ни один еврей больше не будет спокоен.

Я попыталась настаивать, рассказала ему о переходах границы, которые уже осуществила, заверила его, что до сих пор не претерпела ни одной неудачи, но ничего не помогало. Он хотел остаться в Париже. Я приняла его слова к сведению, не промолвив больше ни слова, но приняла решение, что не оставлю его на произвол судьбы, как я догадывалась, весьма неопределенной.

На следующий день, вечером, я собрала двенадцать моих соучеников в маленькой квартирке, предоставленной нам нашей ячейкой. Я задала им доверительный вопрос: «Готовы ли мы охранять Андре Блоха и заботиться о нем все то время, пока продолжится оккупация?» Десять из двенадцати приняли предложение с энтузиазмом.

Двое проявили настороженность и, прежде всего, страх. Один счел предприятие благородным, но нереальным, другой не желал впутываться в затею, сулившую неприятности ему и его семье. Мы приняли их решение, ни словом не возразив.

В таких тревожных обстоятельствах никто не имеет права осуждать другого. Каждый пусть действует, как ему подсказывает совесть. Кто знает, если бы мы их заставили, не сломались бы они в пути, рискуя, тем самым, выдать нас. Мы сказали им, что уважаем их решение. И нам не пришлось пожалеть о взаимной лояльности.

Хотя эти двое нам не помогли, но они не только никогда не донесли, но и не допустили не малейшей утечки информации, а могли бы. Их молчание тоже было в некотором роде актом сопротивления.

Вдесятером мы пришли к Андре Блоху объявить ему наше решение. Слезы выступили у него на глазах. Но — долой церемонии, надо действовать.

Первое требование — сменить фамилию. Фамилия Блох была слишком уж… говорящей по отношению к навязчивым идеям нацистов и нового режима. Табличка с надписью «Андре Блох, профессор консерватории» быстро исчезла с входной двери. Инстинктивно я посоветовала ему сделать себе фамилию из названия какого-нибудь ремесла. И так, несколькими днями позже нашими заботами ночью на стене была прикреплена новая табличка с надписью: Андре Драпье, пенсионер. 2-й этаж.

Осталось сделать самое трудное: организовать его повседневную жизнь. Поочередно мы занимались его обеспечением. С Вьенны я привозила всевозможные продукты, которых больше нельзя было достать в Париже. Надо было также добыть ему одежду, обеспечить, когда понадобится, визиты врача… За три года он ни единого раза не вышел из дому. Он жил так вдвоем с женой, такой же добровольной и достойной затворницей. У нас был свой условный стук в дверь. Каждый свой приход с продуктами мы использовали, чтобы заодно взять урок сольфеджио. Таким образом, мы поддерживали знание сольфеджио на приличном уровне, но, прежде всего, мы давали ему возможность ощущать себя нашим учителем, а не существом, целиком зависящим от нашей доброты. Мое участие в этой цепи солидарности прервалось только моим арестом осенью 1943 года, но история для нашего учителя закончилась благополучно. Андре Блох умер у себя дома в 1960 году.

Тайные встречи с Андре Блохом, как и менее регулярные с Леоном Зигера, оставившим будущим поколениям методику преподавания сольфеджио, какими бы опасными они ни были, дарили мне клочок ясного неба в эти годы тьмы. Слишком занятая оккупацией, если я смею так выразиться, я не имела времени для регулярных и длительных занятий фортепьяно. Я с тоской вспоминала постоянные репетиции с дедом, часы упражнений на рю де Мартир в Париже, на рю де ла Республик в Сен-Жермен-ан-Ле или на старом пианино в Боне. Последнее стоит у меня до сих пор, но благородный звук его струн я не слышала уже очень давно.

В самое черное время войны каждая сыгранная нота казалась мне победой над злом, лучиком света во мраке, торжеством красоты и гармонии над уродством времени. Немцы могли удушить свободу, но не могли уничтожить вековое общее наследие человечества, они могли убивать людей, но не могли заставить замолчать музыку. Разве нам не рассказывали, что в

концентрационных лагерях немцы приходили в особенное бешенство, если слышали, что их жертвы поют? Музыка сама по себе была актом сопротивления — уродству, лжи и смерти. Через несколько месяцев я сделала зловещее открытие: не имея возможности убить саму музыку, палачи могут изувечить ее исполнителей. Жестокая победа палачей, жестокое открытие для меня. Но, несмотря ни на что, их победа была неполной.

Я, так любившая играть Баха, Бетховена, Моцарта и Шуберта, сочла ироническим парадоксом, что музыканты, достигшие вершины гениальности, были сынами народа, теперь показавшего нам менее славное лицо. Одна каденция Моцарта — всякий раз насмешка над мычанием господина Геббельса. Я и не хотела, чтобы все немцы и вся история Германии ассоциировались с горстью преступников, правивших страной лишь последнее десятилетие. Нет, Германия — это не только Гитлер, это в гораздо большей мере Бах и Бетховен. Первый, замаравший человеческий род, прейдет, а великие музыканты, прославившие Германию, останутся. Из-за одного только этого следовало продолжать играть их музыку.

В некоторых случаях даже ценой непонимания со стороны близких. Я вспоминаю случаи, когда меня просили играть перед немцами. Должна сказать, что никогда в этом не было радости сердца. Играть для немцев значило доставить им удовольствие, и я это хорошо сознавала и не хотела этого ни за какие деньги. Надеюсь, что к настоящему времени я явственно продемонстрировала несогласие с манихейским пониманием мира и человека. Но шла война. Был враг, которого надо было победить, иго, которое нужно было сбросить, были страна и народ, ждавшие освобождения.

Зимой 1940 года у нас в Вье Ложи жил офицер, несколько более утонченный и культурный, чем другие. Он очень любил музыку и сам поигрывал на пианино. «Вы играете на фортепьяно, — сказал он однажды, — мне бы очень хотелось вас послушать». — «Немножко и очень плохо», — начала я. Мое показное смирение его не убедило. — «Играйте!», — бросил он тоном, в котором требовательность брала верх над неизменной вежливостью. Я села на табурет и вытащила ноты. Я намеренно давила на клавиши, фальшивила в аккордах, останавливалась в трудных местах. Я повернулась к нему с фальшиво огорченным видом, пожимая плечами, как маленькая девочка: «Вы видите?» «Я вижу, что вы надо мной насмехаетесь» — ответил он и добавил тоном, в котором слышался оттенок искренности: «Что я вам сделал?»

Мне, естественно, ничего. И сам он, как солдат, только

исполнял свой долг. Рок войны. Если, как повторяют неустанно, музыка смягчает нравы, почему бы ей не смягчить этого офицера? В первый раз я сказала себе, что раз нельзя победить войну взмахом волшебной палочки, надо пробовать все возможные средства, использовать оружие лукавства и хитрости. Оружие не дальнего действия, но, несомненно, эффективное.

Как я уже говорила, знание немецкого давало мне возможность помогать жителям нашей деревни. Может быть, умение играть на фортепьяно тоже поможет мне приносить пользу делу, которое я защищаю? Задабривая офицера, я надеялась настроить его более примиренчески, сделать более покладистым. За пять недель, что он провел в деревне, я успела много раз упросить его заступиться то за крестьянина, у которого реквизировали лошадь, то за семью, измученную волокитой с добыванием разрешения проведать близкого человека с другой стороны демаркационной линии.

Еще в начале войны пианино стало моим оружием, когда надо было спешить на помощь моим юным друзьям по Сопротивлению. Одного из них задержали в комендатуре Сен-Жюльен-ль'Ар.

Его заподозрили в краже документов, что было совершенно верно. В тот вечер нас обеспокоило его отсутствие. У меня появилось дурное предчувствие. Если его не отпустят в течение дня, дела могут плохо для него обернуться: его переведут в другое место, сначала в Тур, потом Бог знает куда, лишая нас возможности вмешаться и придти ему на помощь. Офицер, живший у нас тогда во Вье Ложи, обладал подлинной художественной чувствительностью. После ужина я рискнула взять на себя инициативу: «По- моему, у вас усталый вид. Вам будет приятно, если я поиграю для вас на фортепиано?»

В глубине души меня мучила нечистая совесть: не перехожу ли я границу между минимальной сердечностью вынужденного гостеприимства и явной симпатией к оккупанту? Чтобы подавить сомнения, я постаралась сосредоточиться на моей цели: добиться освобождения моего друга. В тот вечер я играла экспромты Шуберта; мне казалось, что внутренняя меланхолия этой вещи должна его тронуть. К концу отрывка, казалось, его лицо выразило успокоение.

— Спасибо, — сказал он.

— Очень мило, что вы выражаете благодарность словами, но я предпочла бы действия. По тому, как он встревожился, я поняла невольную двусмысленность моих слов. Я расхохоталась: «Вы что подумали? Вы же со мной знакомы! Я просто хотела вас попросить об одной услуге».

И я заговорила с ним о моем друге.

Бедный мальчик, еще не повзрослевший, он просто хотел поскорее возобновить прерванные войной занятия. Он совсем не такой, чтобы вмешиваться в сложные дела, превосходящие его понимание. Я старалась казаться скорее опечаленной, чем смущенной. Офицер ничего не ответил. Гордость оккупанта мешала ему слишком явно сдаться. Но на следующее утро скрип решетки принес мне добрую весть: это был мой друг, небритый, но улыбающийся более чем когда-либо, стремящийся занять свое место в нашем содружестве, которое я не решаюсь назвать ячейкой. Я запомнила этот опыт. Я оценила его риск. Если они обнаружат, что я их обманула, наказание будет страшным, и со всеми моими хитростями, предпринятыми, чтобы по-своему и на своем месте участвовать в борьбе за Францию, будет покончено.

Я знала также, что моя деятельность, достаточно рискованная уже в Боне, в Париже будет намного более опасной. Однако именно в Париже, начиная с 1943 года, я находилась чаще всего, именно здесь я должна была прежде всего действовать.

Приглашений прийти играть на фортепиано для немцев было немало. Через консерваторские круги они знали, кем я была и, следовательно, на что я способна. Долгое время я пыталась избегать просьб или отказываться под всевозможными предлогами. Но как можно бесконечно отказывать, не отталкивая в то же время и, тем самым, возбуждая их подозрения?

Итак, однажды я согласилась.

Меня пригласили офицеры, к которым я часто обращалась с просьбами по поводу бумаг, необходимых моим друзьям. Трепетала ли я при этом приглашении? Меня разоблачили? Нет, они просто просили поиграть на фортепиано на празднике, который они решили устроить для своего высшего командования. Я согласилась, имея, естественно, свою мыслишку в голове. Прием происходил в отеле «Мажестик» на авеню Клебер, в двух шагах от Пляс Этуаль, где размещалось французское командование немецкой армии, а также службы пропаганды гестапо. Позолота ошеломила меня. Мне захотелось убежать из этого места, воплощающего спесь солдатни. Усевшись за клавиатурой, пока затихал большой зал, я чувствовала, как каменеют мои пальцы. Музыка оживила их и напомнила о главенстве искусства над хамством. С течением лет я забыла, что именно играла в тот вечер, но последовавшую затем сцену я помню как сегодня. Когда я, кончив играть, села на место, меня пригласили за стол празднующего генерала.

— Вы очень хорошо играете, мадмуазель, — сказал он с любезностью, плохо скрывавшей его грубость. Настал момент,

чтобы высказать подлинную причину моего согласия на концерт. Я проглотила слюну. — Разве моя игра не заслуживает оплаты? — Оплата? Генерал был оглушен. Окружавшие его офицеры были шокированы. Некоторые смеялись. Как могла я просить платы, когда само приглашение играть немецкая армия считала самой высокой наградой? Они полагали, что скорее я должна их благодарить. Ситуация была похожа на мое первое требование вознаграждения в Боне, но обстановка была более натянутая, действующие лица — более значительными, а атмосфера давящая, и ставка более рискованная. Я думала только о том, чтобы произвести на них впечатление как можно большей уверенности в себе.

— Я не прошу у вас денег, — продолжила я. Я говорю о плате другого рода. — После этого я снова принялась защищать арестованных товарищей, пытаясь одновременно выражаться туманно, чтобы не выдать слишком хорошее знакомство с ситуацией и с обстоятельствами их ареста. — Я знаю, что вы забрали и допрашиваете двух или трех моих товарищей по учебе. Их родители беспокоятся. Я их хорошо знаю и могу поручиться за них. Эти ребята не из тех, кого стоит подозревать. Я не знаю точно, чего вы добиваетесь, но с ними вы только зря теряете время.

Надо полагать, что мои слова были убедительны, потому что моих товарищей освободили через несколько дней. Мое фортепиано выиграло еще одну битву. А затем и другие. Это были скромные битвы, но они всегда приносили пользу тем, за кого велись. Малые победы, ведь всякий раз, когда представлялся случай, я просила за двоих, максимум за троих человек. Ясно, что я не была бы столь же убедительной, если бы явилась в комендатуру со списком в сорок или пятьдесят имен…

Эффективность часто оказывается сестрой терпения. Я ясно сознавала двойственность такого метода. Многократно играть перед немцами, — для тех, кто не знал причин моего поведения, это явно пахло коллаборационизмом. В момент действия я не думала и даже не представляла себе, что может произойти на следующий день после победы.

Возможно, если бы я заранее знала, какими страшными будут зачистки коллаборационистов после войны, исполненные ненависти и ослепления, если бы я знала, что эти чистки устраивали в основном деятели позднего Сопротивления, может быть, я бы и отступила. В тот момент я просто пришла в ярость, узнав, что люди — мои товарищи по борьбе — могут так заблуждаться на мой счет, но пришлось принять и этот риск. Сверх того, я была убеждена, что фортепиано приносит еще одну

победу, конечно, скорее символическую, но гораздо более решающую: победу света над мраком, победу всемирной красоты, которую не может уничтожить ни одна армия в мире.

Намного позже я прочла книгу Романа Гари «Воздушные змеи»; действие романа происходит в Нормандии во время оккупации. Несмотря на непонимание окружающих, владелец ресторана отказывается закрыть заведение и соглашается обслуживать немцев и полагает делом чести подавать им самые лучшие блюда из французской кухни. Впоследствии он объяснил, что, борясь за самый лучший французский вкус, он работал на Сопротивление, так как совал под нос оккупантам то, что они никогда не смогут ни уничтожить, ни присвоить. Играя на фортепиано для немцев, я чувствовала, что делаю что-то в этом роде. Решение играть для немцев я приняла не в одиночку. Даже при свойственным мне нахальстве моральный груз был бы слишком тяжел для меня одной. Я это обсудила с моими друзьями. Я говорю «друзья», потому что было бы преувеличением называть это «ячейкой» в том смысле, в каком это слово употреблялось во время войны.

Я вошла в Сопротивление и прошла его путь как любитель, а не как профессионал, как говорят спортсмены, продемонстрировав попутно, что честолюбие и серьезное отношение к делу не мешают первоклассной работе.

Я старалась отдать лучшее, что у меня есть, а не создать организацию на основе военного и политического анализа ситуации. Я и мои друзья никогда не принадлежали к какой-либо ячейке Сопротивления. Знавшие нас называли нас «Друзья Маити». Иногда, когда возникала необходимость как-нибудь нас обозначить, мы говорили о группе «Итиам», читая мое имя задом наперед.

В нашей группе никогда не было больше двенадцати человек. За время войны состав группы менялся. В зависимости от обстоятельств, я иногда предлагала людям, которых считала достойными доверия, участвовать в наших начинаниях.

У меня были приятели — мои ровесники на Вьенне, которые помогали мне при пересечении демаркационной линии. Двое из них, как и я, переселились в Париж. Они учились в консерватории, познакомились мы у моего учителя Андре Блоха. Я была самая младшая.

Масштаб наших действий был очень скромным. В основном, мы стремились помочь конкретным людям. Во всем этом не было никакой идеологии или политики. Мы старались освободить молодых людей, арестованных гестапо, снабжать документами нуждавшиеся в этом семьи, передавать корреспонденцию в

организованные группы Сопротивления, искавшие анонимных посредников.

Собирались мы в маленькой квартирке в XVI-м округе, недалеко от пляс Этуаль, следовательно недалеко от стратегических пунктов немецкой армии и гестапо. Но улица была маленькая и незаметная. С годами я забыла ее название.

Квартира не принадлежала нашей группе. Владельцем был некий господин, лет шестидесяти, имевший в доме две квартиры: ту, где жил он сам, и нашу, этажом выше. Преданный делу Сопротивления, он считал себя слишком старым, чтобы вести активную борьбу. И он нашел средство быть полезным делу. Три комнатки он отдал в распоряжение нескольких ячеек, подобных нашей. Ключи прятали под умывальником на лестничной площадке.

Владелец квартиры дал нам два строгих указания: возвращаться каждый раз другой дорогой и пользоваться попеременно главным входом, боковыми воротами и служебным входом, выходившим на параллельную улицу.

Из осторожности мы искали и другие места для встречи. Нам нравилось встречаться в большом зале вокзала Сен-Лазар.

Вокзальная толпа гарантировала анонимность и давала возможность разбежаться, если немецкие солдаты обратят на нас внимание. На вокзалах всегда было полно немецких патрулей. Естественно, мы старались их избегать.

В некоторых случаях, наоборот, мы шли позади патруля, в нескольких шагах, всегда с учебниками под мышкой, чтобы они поверили, что нам не о чем беспокоиться и нечего скрывать.

Я уже говорила, что одной из главных наших задач было снабжать нуждающихся документами. Для этого необходимо было добывать печати. В других обстоятельствах я бы этим не гордилась. Но должна признаться, что на Вьенне, с самого начала оккупации, я прославилась как лучший мастер в искусстве красть печати.

Не все, стремившиеся пересечь демаркационную линию, решались или могли пытаться переплыть Вьенну, рискуя утонуть или быть схваченными врагом. Многие приходили ко мне с просьбой добыть им документы. Сначала я их добывала через час по чайной ложке, но очень скоро этого стало недостаточно.

Не имея возможности быстро достать документы, я решилась их подделывать. Следовательно, мне было необходимо добыть официальную печать немецкой армии, чтобы штамповать пропуска. Однажды, зайдя в маленькую комендатуру в Сен-Жюльен- ль'Ар, я увидела целую кучу печатей среди вороха бумаг на большом дубовом канцелярском столе. Я пришла, чтобы

возобновить собственный пропуск. Несомненно, это были нужные печати.

Итак, надо было не только утащить печать, но и убедиться, что кража прошла незамеченной.

Очень вовремя кто-то окликнул изнывавшего от скуки сержанта, явно иначе представлявшего себе военную славу. Он вышел секунд на тридцать. За это время я как раз успела перевернуть все семь печатей и убедиться, что они одинаковы. В таком беспорядке одной печатью больше или меньше — никто не заметит. Я успела спрятать одну в сумку, прежде чем сержант вернулся, и подарила ему улыбку, скрывшую усиленное сердцебиение. Это было для меня огненное крещение. Но он, бедняга, увидел только юношеское волнение…

В Париже, начиная с 1943 года, я возобновила подобные операции, особенно в занятых немцами конторах на авеню Марсо. Здесь я испытывала большую робость. Суровый и холодный вид офицеров, служивших в столице, заставлял меня леденеть от страха, и я с сожалением вспоминала добродушную безалаберность сержанта в Пуату. Пропуска были также существенно необходимы и здесь, и я продолжала их фабриковать в комнатке на рю Молитор.

После печатей пришла очередь и для карт. Однажды, на пороге парижской квартирки, служившей нам генеральным штабом, мы нашли записочку от одного из наших корреспондентов, постоянно связанного с Лондоном. Он просил добыть немецкие карты, в особенности карты западного побережья.

Позднее мы поняли связь между этим требованием и высадкой союзников в 1944 году. В тот момент мы не стремились узнать, зачем они нужны. Для всех, так или иначе принимавших участие в Сопротивлении, существовало золотое правило: не стремиться все знать, все понять, пока между тобой и собеседником не установится полное, глубокое доверие.

Необходимость привела нас в Амьен. Друзья наших друзей нуждались в человеке, бегло говорящем по-немецки, чтобы ходатайствовать о чем-то перед немецкими властями. Этим легко было объяснить мое появление в комендатуре небольшого городка, расположенного на севере департамента Сомм; название его я с течением лет позабыла.

Во время встречи я заметила пакет из больших, сложенных в восьмеро листов. Это явно были карты генерального штаба. Около дюжины их лежало на верху этажерки. Добыть их было сложнее, чем печати. К счастью, моя официальная просьба была довольно сложной, и офицеру пришлось обратиться к

вышестоящему начальнику. К большому моему удивлению, офицер вышел из комнаты, оставив меня одну. Быстрый взгляд, брошенный кругом, чтобы убедиться, что никто не смотрит на меня снаружи, и я забралась на стул и добралась до карт. Затем я услышала шаги подымавшегося по лестнице офицера. Не дожидаясь, когда он поднимется на этаж, я схватила и развернула одну из карт, торопливо и неловко.

Это были карты Дюнкерка и окружающей области, все одинаковые, помеченные черным маркером, покрытые значками, которые некогда было расшифровывать. Я слезла со стула и сунула карты в сумку. Я как раз успела сесть на прежнее место, прежде чем он вошел. Его испытующий взгляд выражал недоверие. На его столе все стояло на месте. Это его явно успокоило. Меня, напротив, охватило сильное беспокойство, когда я осознала, что в спешке не поставила на место стул, который схватила, чтобы залезть на верх этажерки. Стул по-прежнему стоял на видном месте у самой этажерки. Охваченная страхом, я думала теперь только о том, как побыстрее окончить дело. Понял ли солдат, что произошла кража? Я этого никогда не узнала и не стремилась узнать. Карты были у меня. Принесли ли они пользу? Еще один вопрос, который, в сущности, меня не касался. Задание было выполнено, и мне оставалось только передать плоды моей эскапады ожидавшим. Почтовый ящик был устроен позади дома, стоявшего на заболоченной земле Амьена.

В течение нескольких недель передо мной и двумя моими товарищами стояла единственная цель — добыть другие карты. В целом, по нашим расчетам, мы добыли 75 кг карт, которые позже были переданы в Англию. Летом 1944 года, следя за продвижением войск союзников от Нормандии к Парижу, я не могла не подумать, что наши мелкие кражи сыграли свою небольшую роль в этих действиях. Если это было так, то в этом была наша награда.

Мы не получили ни расписки в получении, ни благодарственных писем. Во время войны соблюдение тайны плохо уживалось с вежливостью. Но эти события говорили больше, чем слова.

Несколькими днями позже, в марте или апреле 1943, мы нашли в амьенском почтовом ящике приглашение приехать в Нант. Нам сказали, что нужно помочь участникам Сопротивления пробраться в Англию. Там усиливалась подготовка к созданию французской армии Сопротивления. Отплытие по Северному морю или через Ла-Манш казалось слишком заметным. Поэтому нужно было организовать способ отправки через Атлантический океан.

Быстро проехав через Париж, мы двинулись в Нант. Первым нашим шагом было найти незаметное и удобное для наших целей жилье. Случайно мы обнаружили маленькую прачечную на окраине города. Она называлась прачечная Мезанж. Владелица, одинокая дама, собиралась закрыть прачечную. Она приближалась к пенсионному возрасту, а дела после начала войны шли все хуже. Чтобы дожить до конца месяца, она стала сдавать две маленькие комнатки над лавкой. Прачечная находилась недалеко от порта Сен-Назер, где у немцев была база подводных лодок. Сначала мы об этом не знали. Но близость групп немецких офицеров, их частые прогулки к красильне вызывали в нас тревогу. У меня возникло интуитивное ощущение, что здесь есть, чем заняться. Чем? Я не могла бы сказать заранее, но я думала, что любое общение с оккупантами сослужит службу при сборе сведений. Через несколько дней мы решили возобновить деятельность прачечной Мезанж. В рекордный срок мы организовали передвижную прачечную-чистку одежды. В конце концов мы обзавелись четырнадцатью правильно оформленными грузовичками, конечно, благодаря поддержке местных участников Сопротивления, с которыми мы вступили в контакт. Очень быстро мы установили, что офицеры посылали форму в чистку за четыре дня перед отправкой подводной лодки на маневры. Звания, конечно, было легко увидеть на мундире снаружи, но внутри, на подкладке, вышивали также имя моряка и название судна, на котором он служил.

Таким образом нам стали известны передвижения подлодок. Полученные сведения мы пересылали через специальных людей нашему правительству в Лондон. Это длилось несколько месяцев, до лета 1943 года. Тогда я решилась вернуться в Париж, чтобы сдать второй экзамен на аттестат зрелости. Я почти забыла про экзамены, увлеченная деятельностью Сопротивления.

Глава 6
Время страстей

Это случилось осенним вечером, октябрьским вечером 1943 года, одним из тех прекрасных вечеров, когда лето еще не решается уступить место осени. Нежность заходящего солнца вызывала чувство мирной беззаботности, паривший над Парижем и заставлявшей почти забыть о тяготах оккупации, которая не спешила заканчиваться. Высадка союзников в Северной Африке годом раньше породила надежду на возобновление сражений, но это столь чаемое событие на французской земле все никак не наступало, и в это время вся Франция после оккупации свободной зоны оказалась под немецким игом.

Весной был создан национальный совет Сопротивления, — предпосылка объединения всех ячеек Сопротивления и военных сил, — но соперничество между Де Голлем и Жиро[20] мешало работе и портило настроение. Короче говоря, Сопротивление рифмовалось с терпением и выдержкой более чем когда-либо. Следовало бы добавить — и с бдительностью.

Однако следует признать, что рутина поселяется во всем, что длится во времени. Быть может, безбоязненно бороздя Париж по всем направлениям, рискуя и каждый раз удачно, дерзко обманывая подозрительность немцев, я в конце концов стала менее внимательной.

Тем вечером в октябре 1943 года я увидела группу из четырех немецких солдат на подступах к вилле Молитор, куда я возвращалась, но не насторожилась. Я въехала в сад на велосипеде. Зеленый велосипед, столько раз служивший мне в Боне, мой сообщник в переходах в свободную зону, — я привезла его с собой в Париж. Не знаю, почему, но с ним я чувствовала себя защищенной, в безопасности. В тот вечер мне вдобавок не о чем было тревожиться. У меня был самый обычный день. Фортепиано, покупки для семьи де Бомон, у которой я жила, уроки с их дочерями и ужин с товарищами по консерватории. Итак, я возвращалась с пустыми сумками и легкой душой.

Входя в ворота виллы, я увидела солдат, но не придала этому значения. Только крутой подъем в конце поездки слегка затруднил дыхание. Я еще сидела с седле, когда один из солдат меня окликнул: «Вы мадемуазель Маити Гиртаннер?» Он спросил по- французски, я ответила по-немецки: «Да, а что?»

— Слезьте с велосипеда.

— С какой стати?

Они продолжали уже по-немецки:

— Вам сказано — слезьте. Не спорьте и покажите ваши документы.

Я была поражена и неожиданностью требования, и грубостью тона. Я протянула документы, одновременно сражая их вечным заклинанием, до сих пор спасавшем меня от серьезных неприятностей:

— Я — швейцарская подданная. Моя страна нейтральна. Вы ничего не можете мне сделать.

Они притворились, что не поняли. «Алиби» языка не работало, хотя я говорила по-немецки. Я протянула руку, чтобы забрать бумаги. Но вместо того, чтобы вернуть, солдат положил их в карман и бросил мне: «Следуйте за нами». Я возмутилась: «По какому праву? Я вам уже сказала: я швейцарка. И вам нечего мне предъявить. Я просто возвращаюсь домой, это же не преступление».

— Вы все это объясните в комиссариате.

— Я вполне готова все объяснить, но дайте мне хотя бы подняться к себе. Я должна помочь двум девочкам приготовить уроки. Их родители не поймут, почему я не явилась. Нужно их предупредить.

Вместо ответа три других солдата взяли меня в кольцо. Я еще понятия не имела о том, что происходит, но я почувствовала, что на этот раз дело плохо. У меня не было никакой лазейки. Я спустила ноги на землю и, сжимая руль велосипеда со смесью гнева и тревоги, зашагала, окруженная черным угрожающим эскортом. Не знаю, что во мне преобладало: гнев или покорность судьбе.

Гнев, что меня поймали так глупо, даже не во время опасной операции. За эти три года я столько раз водила за нос немцев, что мне казалось унизительным быть пойманной на пустом месте, когда я слезала с велосипеда. Что же касается покорности судьбе, это, конечно, неправильное выражение, потому что никогда я не могла принять неприемлемое или признать с легким сердцем поражение. С самого возникновения Сопротивления я внутренне согласилась стать частью сюжета, который я не создавала.

С самого детства я поняла, что жизнь человека выстраивается из откликов на услышанный зов, что важно не предвидеть, что со мной случится, а быть на высоте обстоятельств, возникающих в каждую секунду жизни, не заботясь о том, что из этого последует. Не выбирать свой путь я призвана, а следовать по нему. Я уже однажды об этом сказала, но это действительно главная линия моей жизни: ни разу я не усомнилась, что Бог во мне. Сколько раз я уверяла кандидатов на переход демаркационной линии, что

Господь их не покинет!

Это не были пустые слова. А теперь я испытывала себя. Окруженная солдатами, я не знала, куда меня ведут, но внутри меня звучали слова псалма: «Рука Твоя ведет меня».

Итак, я шла… Не радостная, но безмятежная. Настороженность в глазах, но мир в сердце.

В молчании мы шли по обсаженным деревьями улицам XVI-го округа. Я вспоминала все мелкие случаи, которые возбуждали, увы, недостаточно, мою бдительность. Впервые тревога возникла летом 1941 года. Мои прогулки вдоль Вьенны длились уже год. Как-то вечером один из офицеров, живших в Вье Ложи, взял меня за руку и отвел в дальний угол террасы. Из всех незваных гостей он был наиболее человечным и внимательным к нашей семье. Грозя указательным пальцем, он сказал: «Мадемуазель Маити, будьте осторожны». Я ответила, стараясь не выказать беспокойства: «Осторожной в чем?» Выражение его лица не изменилось: «Вас часто видят разъезжающей на велосипеде. Слишком часто. Я не хочу ничего знать, но будьте осторожны. Будьте очень, очень осторожны». Вот и все. Больше он ничего не сказал, и я не пыталась ничего выяснить.

Этот немец мог меня погубить, но он меня спас. Он говорил благожелательным, но твердым тоном. Я так и не узнала, что он знал, но, очевидно, он имел серьезные предположения относительно моих действий. Я также никогда не узнала, почему из семян гнева выросло зерно милосердия. Мой час еще не пришел. Кто-то хотел, чтобы я продолжала быть полезной, и выбрал для меня окольный и необычный путь. Из этого предостережения я извлекла урок не умеренности, а осторожности. Из того, что меня выследили или возник риск быть выслеженной, не следовало, что я буду делать меньше, напротив, я решила делать больше, но принимая больше предосторожностей.

Второе предостережение я получила в сходных обстоятельствах, через несколько месяцев, насколько я помню, весной 1942 года. Я об этом уже упоминала: чтобы замаскировать «прогулки» с мужчинами, стремящимися попасть в свободную зону, я предлагала им, если вынуждали обстоятельства, проявить некоторую интимность в обращении со мной. Я предпочитала пробудить подозрения романтического характера, а не быть заподозренной в подпольном сопротивлении. Это так хорошо получалось, что другой немецкий офицер в свою очередь решил дать мне урок. Было видно, что он крайне шокирован.

— Мадемуазель Маити, я часто вижу вас прогуливающейся с мужчинами. Вдобавок всегда с разными! Позвольте мне заметить

вам, что это неприлично! Совершенно неприлично!

Я приняла вид слегка жеманной девочки, пойманной с рукой в банке варенья.

— Что вы хотите, я не могу удержаться. — И добавила умоляющим тоном — Вы не расскажете маме?

В ответ он дал мне долгий и суровый урок морали. «Вы сознаете, что делаете? У меня тоже есть дочери. Я бы никогда не допустил, чтобы они так себя вели. Сразу видно, что вы растете без отца. Вам его недостает. Я вам не отец, но мой долг вас предостеречь».

Я кивнула в знак согласия. Наверное, он сказал себе: «Она предупреждена». А я успокоилась. Искренность и страстность его негодования ясно показали, что ему ни на секунду не пришло в голову, что предполагаемый флирт может служить маскировкой для действий против оккупантов. Не очень приятно прослыть девушкой легкого поведения, но я предпочитала запятнанную репутацию затрудненной деятельности.

Вот о чем я думала, удаляясь — навсегда? — от виллы Молитор. Я размышляла также о двух разных периодах войны — в Боне и в Париже. В Боне говорящая по-немецки девочка пыталась быть полезной для французов, храбро живя в одном доме с солдатами, конечно, вражескими, но, в конце концов, выполнявшими воинский долг. В Париже это была уже участница Сопротивления, сражавшаяся со смертоносной идеологией, несовместимой с ее представлениями о человеке. За попытками договориться последовало неизбежное столкновение.

В этот октябрьский вечер 1943 года для меня начались великие испытания.

За всю дорогу солдаты не проронила ни слова, хотя я без конца повторяла: «За что вы меня арестовали? Вы не имеете права! Я требую объяснений!» Сначала они отвели меня на авеню Марсо. В те самые, хорошо мне знакомые канцелярии, куда я частенько приходила с разными административными делами, своими и чужими, поскольку мое знание немецкого было нужно всем. Также я стянула здесь несколько печатей.

Я была знакома и с несколькими служившими здесь солдатами. Однако допрос был формальным и холодным. Фамилия, имя, профессия, причина присутствия в Париже… Пришлось еще раз все объяснять. Как уже множество раз в Пуатье, в Париже и в других местах, я прежде всего упомянула мое швейцарское гражданство и протянула паспорт, всегда служивший мне защитой. Настойчиво я попросила дать мне позвонить в швейцарское посольство, которое, несомненно, добьется моего немедленного освобождения. Мне отказали.

— Мы знаем, что вы помогали террористам. Вы должны объясниться, — бросил сержант.

— Что вы собираетесь делать? Я хочу знать. Я требую соблюдения моих прав, — ответила я по-немецки. Но очень быстро я поняла, что ничего не могу требовать и должна всего опасаться.

Меня оставили одну надолго — на час, на два часа? Ожидание казалось бесконечным, я сидела на деревянном стуле, ничего не зная о том, что последует.

Наступила ночь. Внезапно вся канцелярия, прежде дремавшая, оказалась охвачена волнением.

— Идите, — приказали мне.

— Но куда?

— Идите, следуйте за нами.

Они собираются меня отпустить? Предупредили ли они, в конце концов, швейцарское посольство? Буду ли я сегодня спать в своей комнате на вилле Молитор? Я чувствовала одновременно надежду и тревогу. Но надежда была недолгой. Машина, в которую меня попросили сесть без особой вежливости, но и без грубости, двинулась с авеню Марсо в направлении площади Этуаль, сделала круг у Триумфальной Арки, двинулись на авеню Фош и остановились возле дома № 84. Штаб-квартира гестапо! Здесь допрашивали, пытали и убили многих участников Сопротивления и самого известного из них — Жана Мулена. Я получила ответ: я не буду сегодня спать на вилле Молитор…

Меня провели на четвертый этаж громадного здания. Каждая ступень лестницы усиливала чувство, что за мной закрывается дверь тюрьмы. Во все время подъема я продолжала требовать звонка в швейцарское посольство, угрожая немцам серьезными неприятностями в случае неуважения к моему нейтралитету. По-прежнему напрасно. Лестница привела меня и моих немых сопровождающих в бесконечный коридор с серыми от грязи стенами и монотонным рядом дверей. Солдат открыл одну из них и втолкнул меня в маленькую комнату. Тесная комната, в семь-восемь квадратных метров, окна с заблокированной ручкой. Постель представляла собой бесформенный матрас, на который было небрежно брошено пыльное одеяло…

Деревянные стол и стул довершали убранство этого принудительного «гостиничного» номера. Скудная и мрачная обстановка резко контрастировала с престижем места… Я уселась на сетку кровати, отчего проржавевшие пружины издали оглушительный скрежет. Через несколько минут дверь снова открылась. Уже другой солдат принес мне кувшин воды и таз.

— Нельзя ли получить кусочек мыла?

Я еще не кончила спрашивать, как дверь снова закрылась. Незачем уточнять, что мыла я не получила.

Мое существование перевернулось за несколько часов. Но усталость не давала мне думать о будущем. Лежа на постели, я предала последние минуты этой недели Господу, вручив Ему в молитве всю свою жизнь. И заснула.

Следующий день не принес мне никаких объяснений. После долгих часов сидения в запертой на ключ комнате меня привели к какому то гестаповскому чиновнику. Он, в свою очередь, попросил меня назвать себя, уточнить, чем я занимаюсь.

Еще более настойчивым тоном, чем накануне, я потребовала позвонить в швейцарское посольство, так как была убеждена, что моя национальность дает мне неприкосновенность, позволяющую все привести в порядок в самое короткое время. «Мы этим займемся», — заверил он. Обещание не принесло мне ни уверенности, ни утешения. Чем дальше шло время, тем больше мое упорное запирательство во всем, что касалось моего активного участия в Сопротивлении, пробуждало в гестаповце пассивное сопротивление. Сидя передо мной, он заполнял формуляры и хлопал по ним печатью с такой яростью, будто хотел прихлопнуть муху. Затем меня отвели к офицерам более высокого ранга. Один из них участвовал в праздновании дня рождения генерала, для которого я играла на фортепиано. Я его узнала, и он меня тотчас же узнал. После нескольких секунд оцепенения он взорвался: «Как, это вы! Так называемая пианисточка, якобы ничего не понимающая в политике, просящая нас освободить ее ни в чем не повинных товарищей! А на самом деле вы — террористка!»

Террорист — их любимое слово. Они никогда не называли иначе участников Сопротивления. Гневные излияния офицера длились несколько долгих минут. Ничто не могло его остановить. Он не мог смириться с тем, что его облапошила девчонка двадцати лет. Мой арест продемонстрировал степень наивности самой инквизиторской полиции в мире. Несомненно, мне придется за это платить.

Меня отвели обратно в мою комнату, принесли скудную еду. Дверь открылась единственный раз за день: миска овощного супа, почти безвкусного, и краюшка хлеба.

Я смирилась с необходимостью провести вторую ночь на авеню Фош. Но, к моему полному удивлению, двое гестаповцев заставили меня почти скатиться вниз по лестнице. Несмотря на их грубость, я снова начала надеяться… Значит, меня наконец, освободили? Надежда длилась недолго. Перед зданием меня ждал зарешеченный фургон, похожий на корзину для салата, а в

нем уже сидели другие люди, четверо, насколько я помню, с совершенно потухшим взглядом. Я сразу поняла, что сажусь не в транспорт на свободу. Было темно.

В крошечном заднем окошке я разглядела Триумфальную Арку, постепенно уменьшавшуюся по мере удаления от Парижа. Стало ясно, если даже мы сомневались в этом раньше, что это был явно не наш триумф.

Сколько времени длился переезд? Путь казался мне нескончаемым и мучительным. Машина катила всю ночь. От шума мотора у меня разболелась голова, тем более, что мы не могли заглушить этот шум разговорами. В начале пути я обратилась к моим спутникам с вопросами: «Кто вы?», «В чем вас обвиняют?», «Знаете ли вы, куда нас везут?» Но мои вопросы сухо прервал один из стражей: «Вы не имеете права говорить между собой».

Раз я не могла говорить со спутниками, я стала смотреть на них и начала за них молиться. Я просила Господа даровать им силы. Один из них вызывал у меня жалость. Он явно был моложе всех, не старше двадцати, и в его глазах читался страх.

«Мои родители беспокоятся, позвольте мне хотя бы их предупредить», — умолял он голосом, прерывавшимся от рыданий, но очень скоро в фургоне воцарилась печальная тишина. Через минуту я задремала.

Вся дорога заняла сутки. Конечности у нас онемели, остановки были редки и сведены к минимуму, потому что шоферы и охранники были одержимы страхом, что один из нас может улучить момент и сбежать. Между тем, мы не были уже на это способны. Насколько я помню, путешествие наше закончилось тоже вечером, было темно, и нас сразу бросили на соломенные тюфяки.

Где мы? Никто не вручил нам ни план местности, ни брошюру для ознакомления… Только длительность путешествия позволила нам заключить, что мы находимся в сотнях километров от Парижа. По тому, как было тепло, несмотря на то, что ночь довольно давно наступила, я догадалась, что мы находимся на юге Франции. Наконец интуиция, которую подтверждал особый запах воздуха, подсказала мне, что мы недалеко от моря. Позже я узнала, что мы находимся в Андай, крайнем пункте Франции на границе с Испанией.

Я также быстро поняла, что мы находимся в большом богатом доме, позже я узнала, что немцы реквизировали в этом районе множество вилл, чтобы контролировать границу. Пока граница еще существовала, демаркационная линия проходила через Нижние Пиринеи, позже их перекрестили в Атлантические

Пиренеи. Но двойная граница, со свободной зоной и с Испанией, превратила эти земли в чрезвычайно удобное место для участников Сопротивления, стремившихся присоединиться к воюющей армии. Андайский пляж был действительно крайней точкой французской земли. Отсюда легко понять причины пристального наблюдения немцев за этим районом.

Некоторые реквизированные виллы стали местом заключения арестованных участников Сопротивления. Так было и с той виллой, куда меня привезли. Ее малая вместимость служила залогом соблюдения тайны. Большую тюрьму было бы легко обнаружить и опознать.

К концу 1943 года ячейки Сопротивления были уже достаточно хорошо организованны, чтобы предпринять попытки освобождения арестованных товарищей. Но искать виллы, укрытые внутри жилых кварталов, было все равно, что искать иголку в стоге сена. Я скоро проверила это на опыте. Я была заперта в помещении, которое не рискую назвать комнатой, в полуподвале. Больше всего мне запомнился вид, открывавшийся через форточку, находившуюся вровень с землей. Я видела обширный парк с ухоженными аллеями, обсаженными аккуратно постриженными деревьями. Видела прогуливающихся гестаповцев. Привлеченная шуршанием шин по гравию, я могла видеть, как черные машины подъезжали к воротам виллы, как полицейские выходили, громко хлопая дверями. Внутри помещение было почти пустым — смесь погреба, чулана и прачечной. Вдоль стены стояли грязные, измятые картонные ящики, в углу был брошен матрас, еще более неудобный, чем на авеню Фош. На нем я спала. Здесь я съедала сведенную до минимума пищу. Но светлое время дня я проводила в другом месте. Днем все пленники были заперты в большой комнате на первом этаже, несомненно, самой просторной в доме. Нас было семнадцать. По крайней мере, в первые дни. По крайней мере, в первые дни. Каждую неделю мы видели, как исчезает то один, то двое из наших товарищей, исчезают, чтобы больше никогда не вернуться, — и это было одним из самых тяжелых психологических испытаний в нашем заключении. В этой обшитой панелями гостиной царила атмосфера ужаса. Тоска и страх читались на лицах. С нами еще ничего не случилось; не было ни жестокого обращения, ни рокового приговора, но страх неизвестности уже совершал подрывную работу в умах. Я сразу же поняла, что нужно что-то делать. Наши тела были у них в руках, но дух мог от них ускользнуть. У них была уверенность в физической победе. Нам предстояло нанести им моральное поражение. Они могли нас унизить, сломать, убить. Наша

единственная возможность сопротивляться была в том, чтобы остаться людьми. Человеческое существо — это, прежде всего, существо словесное. Я не хотела, чтобы тишина торжествовала над нами. Я заговорила: «Если мы будем молчать, мы пропали. Мы замкнемся в себе. Это то, к чему они стремятся, — сделать из нас животных, превратить в овощи. Сначала мы перестанем говорить, потом перестанем думать, перестанем реагировать на окружающее, перестанем жить. Говорить между собой, все время разговаривать — это единственный шанс, чтобы выстоять. Говорить о себе, чтобы доказать себе и другим, что мы существуем. И интересоваться другими, потому что это и делает нас людьми». Все подняли головы и слушали. Большинство со мной согласилось. Некоторые качали головами с видом печальным и разочарованным. Но постепенно все вступили в игру и начали открывать душу. Начали с того, что каждый рассказал, кто он и откуда. Потом мы дали себе немного времени, чтобы повспоминать.

Воспоминания были в основном о детстве, так как при воспоминаниях о недавнем прошлом все молчали, как пленные индейцы. Общим между нами было то, что немцы всех нас подозревали в участии в Сопротивлении. И в большинстве случаев так оно и было. Поэтому мы следили за тем, чтобы никакое точное указание, никакой признак нас не выдал. Можно сказать, эту первую битву мы выиграли. Не самую легкую, но давшую нам силы выдержать дальнейшие испытания. Первым испытанием стали ежедневные допросы, повторяющиеся, жестокие. Нужно было выстоять… Нас вызывали по очереди, всегда по одному. Допросы эти происходили в другом, меньшем помещении. За простым деревянным столом сидели двое, проводившие полицейский допрос, пленнику приказывали сесть на деревянный стул напротив или оставляли стоять. Здесь же присутствовал третий человек. Высокий белокурый молодой человек, моложе тридцати лет, стройный, всегда одетый с иголочки, всегда опиравшийся о стену только каблуком согнутой ноги. Он был их начальником. Двое других называли его доктором. Позднее я узнала, что его зовут Лео, но, конечно, не знала, до какой степени окажутся сплетены наши судьбы.

У него были более благородные манеры, он был менее груб, чем его подчиненные, хотя не проявлял ни малейшей любезности, даже притворной. Говорил он мало, оставляя допрос подчиненным. Я часто останавливала взгляд на нем, без высокомерия, смотрела спокойно, но подолгу. Я не стремилась бросить ему вызов, а только его изучить. Я видела красивого молодого человека и пыталась понять, что он здесь делает. Что

творится у него в голове? Что ему подсказывает совесть? На множество вопросов, которые я, естественно, не могла задать вслух, я старалась найти ответ в его взгляде. Светлые глаза выдерживали мой взгляд, и я оставалась ни с чем, вынужденная отвечать на вопросы следователей. По их вопросам было ясно видно, что они хорошо осведомлены о моей деятельности на Вьенне. Они никогда не спрашивали: «Что вы делали?», а всегда: «Почему вы делали то-то и то-то? Зачем?» И, прежде всего, «для кого?» Все допросы имели единственной целью выяснить, были ли арестованные люди мелкой рыбешкой или акулами Сопротивления. Начиная с конца 1943 года, Сопротивление начало одерживать первые победы. Заметно стало, что немцы спешат уничтожить источник противодействия, могущий их ослабить в момент, когда и на других фронтах возникли трудности. Содержание подозреваемых под стражей занимало людей, которые могли бы быть полезными в другом месте. Поэтому они отнюдь не стремились задержать максимум партизан; им были нужны руководители ячеек. Со мной они не знали, что делать, так как я не упускала случая изобразить идиотку и отрицала всякую связь с Сопротивлением. «Война? Меня интересует только музыка. Сопротивление? Вы представляете, чтобы я, девушка, которой нет двадцати, терпела военную жизнь? Переходы через демаркационную линию? Я хочу быть с вами вполне честной. Я слыхала в деревне, что такое иногда случалось. Но я сама ни разу ничего не видела. Подпольная деятельность? Как вы себе представляете, я могла делать что-либо подобное, когда ваши офицеры день и ночь торчали в нашем доме? Подумайте!»

Их интересовали мои бесконечные поездки на велосипеде, о которых им явно сообщили. Поездки эти были для них доказательством какой-то необычной деятельности, во всяком случае, необычной для девушки моего возраста, к тому же обучавшейся музыке. Десять, двадцать раз я должна была отвечать на одни и те же вопросы. Сотрудники гестапо, жесткие и непреклонные, сидевшие передо мной, не имели ничего общего с вежливыми, иногда даже мирно настроенными солдатами с Вьенны. Здесь не было места уловкам, это была стычка лоб в лоб, грубая, жестокая. Они хотели знать. Им были нужны виновные. Им требовались признания. Любой ценой. Ценой, по сравнению с которой человеческая жизнь не много значила.

Какой ребенок не помнит первой полученной от родителей пощечины? Однако испытанное унижение с годами уступает место признательности за твердость, необходимую уступку любви перед нуждами воспитания. Но здесь не было эмоциональной

связи!

Я никогда не забуду первой пощечины в следственной камере в Андай, тем более, что в этой пощечине не было ни атома любви! Пощечина палача стремилась не вырастить, а уничтожить, не воспитать, а унизить. Первая пощечина поражает внезапностью. Оставляет без голоса. Она — простое предупреждение, после нее можно догадываться о том, что еще предстоит.

Я забыла, о чем меня спросили и что я ответила, но мой ответ им явно не годился. Оба повернулись в сторону начальника, Лео. Он ограничился утвердительным кивком. Тогда один из них поднялся, ринулся на меня, откинув руку назад, как игрок в теннис, собирающийся послать мяч, и влепил мне увесистую пощечину, такую, что я скатилась со стула. Я почувствовала жуткую боль в подбородке. В тот день это была единственная пощечина.

Затем меня отвели в общую комнату, где задержанные ждали своей очереди на допрос. Я села, вернее, рухнула на землю. Остальные смотрели на меня, не осмеливаясь расспрашивать. Что я чувствовала в ту минуту? Конечно, боль и унижение, но я осознавала, что не испытываю никакой ненависти к троим людям, так грубо расправившимся со мной.

Немного придя в себя, я обратилась к Богу, я могу свидетельствовать о том, что Он ни разу не оставлял, не покидал меня. Я бормотала про себя «Отче наш». «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Я произносила эти слова почти машинально, поскольку знала их наизусть, но иногда забывала вкладывать в них сердце, но, повторяя молитву снова, я почувствовала, что слова эти, оставленные нам Христом, относятся лично ко мне и что с этого дня они навсегда вписаны в мою жизнь. Да, я должна их простить. Да, Христос отдал свою жизнь и за них. Бог любит всех людей, и Он ждал от меня, чтобы я тоже их любила, включая, прежде всего, врагов.

«…Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас… Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?.. Не так же ли поступают и язычники?»[21]

Слова Иисуса жили во мне во время моего заключения, даже когда страдание достигало уровня, которого я никогда не испытывала и не могла вообразить. Я увидела проявление благодати в том, что Слово Жизни уже жило во мне и не дало покориться мыслям о смерти.

Вы, должно быть, давно поняли: вера в Бога любви — средоточие моей жизни, и я всегда стремилась поделиться этой любовью с окружающими. Просто я чувствую, что не имею права

эгоистически хранить для одной себя сокровище, доставшееся мне даром. Я всегда стремилась показать ожидавшим перехода через демаркационную линию силу и утешение, даруемые Богом. И еще намного важнее была вера для тех моих сокамерников, которые переживали вместе со мной подобие Страстей.

Тогда я пригласила товарищей не прекращать разговаривать, и тут же начала говорить о Божьей любви.

«Я не знаю, какие у кого из вас отношения с Господом, но хочу объяснить, почему Его присутствие так важно для меня», — так я предварила маленькую проповедь о надежде, которая сильнее ненависти и о жизни, которая сильнее смерти.

Некоторые уже были верующими, другие заново открывали веру, забытую на выходе из детства.

Никто не скрывал от себя тяжести ситуации. Мы уже поняли, что не только свобода, но и сама наша жизнь в опасности. Завтра, через пару дней или недель любого из нас могут депортировать, пытать и убить. Неуместно было бы баюкать себя утешительными разговорами. Стараясь направить взгляд моих сокамерников к Богу, я не боялась говорить о смерти без прикрас, но также говорила и о дарованной нам надежде. Я говорила: «Вечная жизнь — не волшебная сказка, существующая лишь для того, чтобы подсластить горькую пилюлю смерти. Это уверенность в том, что мы достигнем цели, что мы узнаем, для чего и, прежде всего, для Кого мы созданы. Связь с Богом и с ближними не знает границ, поражений и разочарований. Встреча с Создателем будет самой важной, самой волнующей в нашей жизни. Так не пропустим же этой Встречи, подготовимся к ней. И скажем себе, что ни один палач не сможет победить нашу надежду, если она будет крепко укоренена в нас». Разумеется, это только краткий пересказ того, что в разное время я говорила своим сокамерникам. В разные дни наши физические силы, душевное состояние и способность общаться были разными. Иногда я ограничивалась двумя-тремя словами; иногда пускалась в длинные, сложно построенные рассуждения. Многие сказали мне впоследствии, что эти разговоры сплотили нас между собой и сделали взрослыми.

Множество раз видела я в полутьме стройный силуэт Лео. Он ничего не говорил и нисколько не проявлял себя. Он и не прерывал меня. В день, когда я заметила его присутствие, я вдруг осознала, что говорила, обращаясь к нему. Странное предвосхищение. Как могли одни и те же слова быть обращенными к ведомым на смерть и к тому, кто их вел туда? Но я знала, что палач и жертва — оба дети Божьи, грешники, хоть и в разной степени, с нашей, человеческой точки зрения, что судить может только Бог и что все мы нуждаемся в прощении, в

спасении, данном нам через его Сына. Это правда, я молилась за Лео. Я ни разу ему этого не сказала, и он, несомненно, был бы возмущен, если бы узнал об этом, но так и было. С первых дней заключения.

Я пыталась, хотя и не без труда, не столько видеть зло, которое он мне причинял, сколько осознавать, что Бог и на него смотрит любящим взглядом. Кто знает, как развивались бы мои чувства к нему, не делай я этих усилий? Несомненно, от сопротивления я перешла бы к враждебности и ненависти, хотя это ничего не изменило бы ни для него, ни для меня. Я еще не формулировала этого четко, но во мне уже рождалось желание знать, что он будет непременно спасен. Тем временем его обращение с нами было все более ужасным. В этом была его цель. Он был, я знала, врачом.

Его специально выбрало гестапо для изучения новых методов дознания. Его задача была недвусмысленной: получить признания подозреваемых, причиняя им все более невыносимые страдания, но не доводя их до смерти, что, на самом деле, не препятствовало «превышению полномочий» и, в конечном итоге, уничтожению людей. Пособники Лео наносили нам удары дубиной в нижнюю часть позвоночника. Помимо кровоподтеков, видимых следов не оставалось. Но внутренние повреждения были ужасны, к чему палачи и стремились. Удары достигали костного мозга и разрушали нервные центры. Так случилось со мной и со всеми семнадцатью заключенными. Страдания были чудовищными. Я каждый раз теряла сознание. Естественно, многие говорят о пытках. Лично я в отношении себя отвергаю этот термин. Не то чтобы я хотела преуменьшить перенесенное нами. Хотя я выстояла, не у всех, к сожалению, из разделивших мою судьбу, нашлись силы противостоять мучениям. Но нельзя даже сравнивать наши муки с тем, что пришлось перенести некоторым участникам Сопротивления, изменившимся до неузнаваемости. В любом случае, дело было не в этом. Да, у меня, как у многих других свидетельствовавших, есть что сказать людям, но это вовсе не перечисление перенесенных страданий. Пусть мне простят, что я больше ничего не скажу о том, какие эксперименты, в буквальном смысле, производил над нами этот врач и его помощники. По-моему, слово «боль» хорошо сочетается со словом «целомудрие». Важно знать, что пятнадцать-двадцать недель, проведенных взаперти в Андай, показались мне вечностью и были мучительны. Дни текли, и близкая смерть становилась для меня очевидностью. Физически я слабела. Мне становилось все труднее передвигаться. У меня не было сил есть, но душой я сопротивлялась. Я сознавала, что создается некая история и что я

должна оставаться хозяйкой ситуации, иначе этого не выдержат мои душа и дух. Я говорила себе: «Пока я могу управлять моими мыслями, пока я могу молиться, я буду победительницей». И, полагаю, я осталась победительницей до последнего дня, даже несмотря на то, что после последнего избиения меня оставили умирающей на матрасе в подвале. Для них моя история закончилась, на деле же она началась. От меня потребовалось написать новые страницы, каких я и вообразить себе не могла.

Глава 7
Не видеть в своей жизни трагедию

Меня разбудили похрустывавшие по замерзшей земле шаги. Пришла зима. Во время освобождения я узнала, что наступил февраль 1944 года и что я пробыла в заключении четыре с лишним месяца, но в ту минуту я поняла только, что уже зима. На баскской стороне времена года не разделялись так строго, как в Париже или на Вьенне. В нетопленом подвале я страдала от холода, поскольку стала намного слабее физически. Я исхудала. Мой организм был не в силах меня разогреть. Боль от полученных ударов мешала спать. Каждая новая ночь превращалась в кошмар. В долгие часы бессонницы я думала о приближающемся конце, с грустью, но без страха. Я подолгу молилась, просила Господа дать силы и терпение тем, кто переносил то же, что и я, но в ком не жила надежда. В эту зимнюю ночь я наконец задремала, но пробудилась от шума снаружи. С великим трудом я приподнялась на грязном матрасе. В форточку я увидела землю помещичьего сада. Я не могла определить точно, сколько их, но я поняла, что к дому подходит группа людей, старающихся быть незаметными. Время от времени лучик света прорезал темноту деревьев. Я сразу поняла, что происходит операция. Слабость мешала мне радоваться, но я почувствовала, что развязка приближается. «Освобождение ваше близко» — молнией пронеслись слова апостола Павла. Отсутствие ликования связывалось с отсутствием удивления. С человеческой точки зрения ничто не обещало мне скорого освобождения, напротив, но в глубине души все время жила надежда, даже уверенность. Уверенность, что все кончится хорошо. У меня не было сил встретить спасителей хотя бы словами: «Я вас ждала», но так оно и было. Шум снаружи приближался, усиливался. Внезапно раздался резкий грохот, и я поняла, что виллу берут штурмом. Приказы по-французски мешались с немецкой бранью. Людей было немного. Несомненно, численное превосходство было на стороне участников Сопротивления. С первого этажа до меня доносились звуки ругани. С резким треском открылась дверь моей камеры.

— Вы — Маити Гиртаннер?

— Да, а вы?

— Выходите! Мы пришли, чтоб вас освободить.

Человек говорил со швейцарским акцентом, обрадовавшим меня до глубины души. Он начал подниматься по лесенке, но я не могла следовать за ним. Несмотря на все мои усилия, я не могла

подняться, тем более идти. Они вернулись вдвоем и с трудом вывели, точнее, выволокли меня, держа под руки, наружу. У дверей стояла машина с распахнутыми дверцами и работающим мотором.

— А другие? — спросила я.

— Какие другие?

Я объяснила, что нас тут было много, что я не знаю точного числа оставшихся сейчас заключенных, так как последнее время мы не видели друг друга. Я думала, что нас должно было оставаться человек пять-шесть, когда вспомнила необъяснимые исчезновения примерно десяти сотоварищей по Сопротивлению, бывших со мной в первые недели. Надо было спешить. Освободители смогли сковать немцев, живших в доме, но могла прибыть смена, немцы могли кого-то оповестить, поднять тревогу. Несколько человек вернулись на виллу, обежали несколько комнат и вернулись всего с двумя заключенными, плачевное состояние которых трудно описать. Должна сказать, что эти люди недолго вкушали радости обретенной свободы, смерть вскоре одержала верх, и, несомненно, в течение нескольких дней и я пришла бы к такому же концу. Меня спасли буквально в последнюю минуту. Час мой еще не пришел. Позднее я узнала, что один из двух спасенных вскоре покончил с собой. Каково же было его отчаяние, если он дошел до этой крайности! Как только всех внесли в машину, она тронулась. Андай был по-прежнему погружен во тьму. По дороге рассвело, солнце взошло как обещание нового дня, как провозвестие нового рождения. Не знаю, сколько длился путь. Я сразу же в изнеможении заснула. Меня привезли в Париж и там все объяснили.

Швейцарский Красный Крест был предупрежден о моем исчезновении. С начала 1943 года я регулярно, каждую неделю посылала весточку на адрес моего брата Мишеля, а он пересылал письмо в швейцарское посольство. Всю войну мы сохраняли связь с посольством, и оттуда, не зная точно, чем мы занимаемся, за нами приглядывали.

Случалось, что письмо-другое за неделю не добиралось до получателя, но оставшись в течение нескольких недель подряд без известий, брат начал беспокоиться и забил тревогу. Начались поиски, прежде всего на юге Франции. Мне объяснили, что в южной части Луары сконцентрировали наибольшее количество пленных. Ячейки Сопротивления связались с Красным Крестом, располагавшим обширной информацией.

Сопоставление разных фактов привело их в Андай, привело ко мне, к тому, чтобы положить конец кошмару, разрушившему мое тело, но, я надеюсь, укрепившему мой дух и мою душу.

После событий 1943–1944 гг. я живу в постоянных, ежедневных страданиях. Очень быстро я поняла, что ограниченность моих физических возможностей не носит временного характера. Мои страдания были не этапом, а состоянием. По правде говоря, это было очень трудно признать. Мы всегда живем в надежде на временный характер раны, в ожидании, что все снова станет как было, что нить событий снова свяжется, но в моем случае все было иначе. У меня были разрушены нервные центры, которые нельзя восстановить. Речь шла не о том, чтобы восстановить разрушенное, как восстанавливают кирпич за кирпичиком обрушившийся дом. Надо было строить новое, на фундаменте, которого я не выбирала. Это был пугающий вызов. Прежде всего потому, что речь шла об одном и том же человеке. Это была я, мой ум, мои мысли, мои чувства. Но преемственность, непрерывность, которую я ощущала головой и сердцем, должна была справляться с нестабильностью моего физического состояния. Внутреннее разделение, разлад был невыносимым, болезненным. Кроме того, я с детства привыкла сама управлять своей жизнью, направлять ее в соответствии с собственным выбором.

Совершенствование в игре на фортепиано было своего рода аскезой, но я сама этого хотела. Поставить себя на службу другим людям во время войны — в этом был известный риск, но я пошла на него сознательно. Прежде повсюду — в школе, в семье, с друзьями, в Сопротивлении — я была «лидером». А теперь я больше не была хозяйкой своего тела. Я больше не могла делать, что хочу. Прежде я была хозяйкой жизни, теперь я должна была научиться полному доверию… Приходилось, как призывает нас апостол Павел, обретать гордость не в силе, а в немощи. Это очень просто написать на бумаге — это очень сложно принять в действительности.

Следовало сначала восстановиться физически, точнее, хотя бы частично вернуть себе прежние возможности и слегка уменьшить боли. При освобождении я не могла самостоятельно держаться на ногах — слишком сильна была боль в позвоночнике. Освободители привезли меня в Париж. Не могло быть и речи о том, чтобы семья увидела меня в таком состоянии. Во время оккупации никто из близких, кроме бабушки, ничего не знал о моей деятельности. Это был вопрос скромности, не только осторожности. Мое длительное отсутствие, конечно, тревожило близких, но они уже привыкли к моим необъяснимым исчезновениям на более или менее длительное время.

После освобождения я стремилась как можно скорее увидеть семью, но я никогда не могла бы им рассказать, что со мной

случилось. Я не могла бы подвергнуть мать потрясению при виде моего физического истощения и болезни, поэтому меня прежде всего отвезли в больницу, где я пробыла много недель. Коллектив неврологов был исключительный и достиг невероятных результатов: они восстановили во мне способность двигаться и постепенно облегчили боли, но путь был долгим, очень долгим и, к несчастью, не завершенным. В течение восьми лет я регулярно ложилась в больницу и в антиболевой центр в Ивелин, каждый раз на долгие недели.

Как это часто бывает и во всем остальном, только в молитве и через молитву я смогла освободиться от себя, чтобы облечься в истинную свободу, которую дарует Христос.

«Истина сделает вас свободными», — сказал Он. Во все время восстановления я осознавала, что, согласившись с реальностью моего нового состояния, я достигну свободы духа и мира в сердце. Я часто думала и продолжаю думать и сейчас об обращенных к Петру словах Иисуса, словах обетования и предостережения: «Когда ты был молод, то сам опоясывался и шел, куда хотел; когда состаришься, другой опояшет тебя и поведет, куда не хочешь!»

Предсказание это было бы невыносимым, если забыть, что оно произносится сразу после тройного вопрошания Иисуса: «Петр, любишь ли ты Меня?», на которое Петр отвечает: «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя»[22]. Между ними восстанавливается доверие; перспектива, что тебя отведут, куда не хочешь, больше не устрашает, а придает веры. Так я это услышала для себя.

В один прекрасный день я сказала себе, что не надо сожалеть о том, чего больше нет, а надо любить то, что есть, и искать, чем я должна стать. Путь этот оказался очень долгим, немедленных результатов на нем не было. Это было условием искупления и полем внутренних сражений.

Знакомство с духовностью и с различными ветвями ордена доминиканцев помогло мне выбрать этот путь. Это было в 1950 году. Друзья уговорили меня поехать в паломничество Розария в Лурд, организованное доминиканцами. Война окончилась недавно, мои физические страдания были еще очень сильны. Большую часть паломничества я провела, распростертая на носилках, но в Лурде я была не единственной. Я встретилась здесь со священником, с которым мы вели долгие беседы. Он сообщил мне, что девиз ордена доминиканцев — Veritas (Истина). Это слово, такое простое, но такое основополагающее, меня буквально пронзило. Если бы я могла, я бы спрыгнула с носилок, чтобы провозгласить эту Истину, которая для христианина

прежде всего — личность, Христос, сам сказавший: «Я есть Путь, Истина и Жизнь».

Я почувствовала, что полностью разделяю духовность и способ видения учеников Св. Доминика. Моя любовь к богословским рассуждениям и строгой аргументации нашла в доминиканской традиции самую добрую почву. Для меня вера не должна замыкаться в духе, позволю себе сказать, ханжества. Молитву нельзя противопоставлять разуму, свобода не антиномична истине, именно это я нашла у доминиканцев. Поскольку я не была монахиней, то присоединилась к третьему доминиканскому ордену[23] и активно включилась в его деятельность. Вдвоем с другом детства, мадам Каррон де ля Карьер, мы ввели третий орден во всей округе Сен-Жермен. В связи с моим жизненным опытом, я, в основном, действовала под эгидой доминиканского братства больных. Очень быстро я увеличила число занятий с чтением Писания, посещая их с большим усердием. Новый этап моей жизни начался с двойного, дорого мне стоящего, отречения — от музыки и от семьи. Именно через фортепиано пришлось осознать неизбежность новых ограничений. После конца войны я вернулась в Бон и села перед моим старым пианино, за которым так много занималась и так часто играла. С первого же аккорда, как и следовало ожидать, пальцы меня не слушались. У меня в голове звучала музыка, произведение текло свободно, а под пальцами пассажи становились тяжелыми, звуки — сухими и жесткими. Эти звуки убивали Баха и Бетховена.

Я сама их убивала. Первая же попытка показала, что то, что я могу, не имеет ничего общего с тем, чего я хочу. Потрясение было унизительным, отчаянным, угнетающим, распинающим. В начале книги я об этом писала. Возможно, я была запрограммирована на карьеру концертирующей пианистки. Во всяком случае, фортепиано было моей жизнью, музыка — моим обычным способом выражения. С этим было покончено. Согласиться на это отречение было мучительно трудно. Долгие годы, услышав игру на фортепиано, я начинала плакать от горя и сожалений.

Много раз в послевоенные годы я пыталась заново начать играть — с тайной надеждой заметить улучшение, хотя бы крошечное. Все было напрасно. Однажды я решилась спросить моего лечащего врача: «Скажите мне откровенно, смогу ли я когда-нибудь играть, как прежде?» Он ответил со спасительной откровенностью: «Нет. Как прежде — никогда!» Никогда — есть ли более зловещее слово?

Я уже говорила, моя печаль была глубокой, безмерной. Я знала, кому я обязана своим положением, тем не менее я никого

не винила. В любом случае, это ни к чему бы не привело и не вернуло бы мне прежние пальцы. Но, я думаю, что могу сказать это без преувеличения, мои муки не превращались в ненависть, не питали личное мстительное чувство по отношению к Лео и его подручным, которые избивали меня в недели плена. У меня, конечно, не было еще мысли о прощении. Для него тоже нужна была долгая дорога. Прощение происходит не абстрактно и не в пустоте: нужен человек, к кому прощение обращено или от кого оно исходит. Тело мое было изранено, но мое сердце не было исковеркано жаждой мести.

Спустя несколько лет немецкий врач принял на себя, как миссию, задачу вернуть мне музыкальные способности, отнятые другим врачом, его соплеменником. Он хотел вернуть меня к фортепиано, но какой ценой! Транквилизаторы, лекарства всех сортов. Я пустилась насиловать судьбу ради невероятного и, в любом случае, недостижимого результата. Я тратила безмерную, непропорциональную энергию, чтобы вернуть себе силы, которых лишилась. В глубине души это звучало фальшиво. Свободу не обретают путем отказа от реальности. Так я почувствовала, что мое физическое и внутреннее освобождение возможно только через строгую правду: нужно осознать до конца, чем я стала. Надо было полностью принять то, что я больше не смогу играть — для того, чтобы я могла восстановиться. Для этого нужна была, не нахожу других слов, благодать, так как, с человеческой точки зрения, отказ от фортепиано был для меня непереносим. Соединение благодати, ведущей меня к смирению перед обстоятельствами, с моим независимым и свободолюбивым характером, помогло преодолеть невыносимое и сделать так, чтобы пережитое мной не состояло из одних только потерь и приобретений. Не имея возможности играть, я могла передавать опыт. Не имея возможности блистать, я могла помочь совершенствоваться другим. Неспособная больше наслаждаться своей игрой, я могла разбудить в других способность радоваться музыке.

Как только я немного восстановила физическую устойчивость, то, естественно, стала репетитором. Я не могла стать преподавателем в строгом смысле слова, у меня не было необходимого диплома; но моя способность слушать и большой педагогический дар (если верить тому, что мне говорили) дали мне возможность оказывать серьезную помощь студентам консерватории. Каждую неделю я принимала множество учеников у себя, на рю де ла Республик, в Сен-Жермен-ан-Ле. Я занималась с ними и, в том числе, учила их самостоятельной ответственной работе. Никто из моих учеников ни разу не провалил экзамена.

Преподавание помогло мне излечить другую рану, нанесенную пленом, — невозможность создать семью. Маленькой девочкой, юной девушкой я всегда мечтала выйти замуж и, особенно, иметь детей. Однажды, незадолго до войны, мне было лет семнадцать-восемнадцать, сосед бросил мне: «Вы созданы, чтобы родить десяток детей!» Это, безусловно, было верно. Я была крепко сколочена. Я любила детей, и перспектива управлять домом меня больше радовала, чем пугала.

И, наконец, хотя я всегда стремилась жить насыщенной духовной жизнью, я никогда не чувствовала призвания к монашеству. Итак, создание семьи было моим сильнейшим желанием. Шестьдесят лет назад молодежь была менее отважной и не так спешила, как сейчас, но могу признаться, что некоторые перспективы будущего начали уже намечаться.

Война все разметала. Желание не умерло, но тело ему больше не подчинялось. Непрерывные страдания исключали даже мысль о беременности. С 1944 года я могла существовать только, если каждый день несколько часов лежала неподвижно. Каждое мгновение было (и остается) мгновением, вырванным у страданий. Душевно, физически, умственно я больше не имела сил, чтобы справиться с круговоротом семейной жизни, с ведением дома; итак, я должна была отказаться от создания семьи…

Это было большим горем. Моя повседневная жизнь больше не была обыкновенной — такой же, как у всех других людей. Отныне моя жизнь шла медленным ходом. Я не могла больше долго ходить, самостоятельно делать покупки…

Среди одержанных побед я числю получение водительских прав. Я твердо хотела этого добиться. Я ни слова не сказала экзаменатору о моем физическом состоянии. Уроки вождения я брала, закованная в корсет. К тому же самое удобное для меня положение — это сидеть в кресле.

Один из врачей мне как-то сказал: «У вас позитивная натура. Я знаю, что вы сумеете до конца использовать свои возможности».

Это я и пыталась делать.

Мне всегда хотелось передать другим, чем я живу, что знаю, во что верю. Лишенная возможности иметь собственных детей, я старалась быть полезной детям других людей. Я пыталась помогать детям двоюродных братьев, племянников. Некоторые из них приезжали меня повидать в Сен-Жермен-ан-Ле почти каждое воскресенье. Завязывались глубокие и подлинные связи. Некоторые из них доверяли мне свои тайны, и я надеюсь, что общение со мной помогло им.

Особенная связь завязалась у меня с малышкой Моникой,

дочкой соседки. Они жили вдвоем, отец Моники их бросил. Мы с моей мамой их очень любили. Вскоре мать Моники заболела и умерла. Моника осталась одна в возрасте тринадцати лет. Случилось это, насколько я помню, в начале шестидесятых годов. Моя мама была еще жива, и мы взяли Монику к себе. Официально я ее не удочеряла. Это было невозможно со всех точек зрения, но я растила ее как дочь и видела в ней дочь. Она была и осталась великодушной и доброй.

Это неофициальное материнство, длившееся долгие годы, принесло мне множество радостей, среди которых не меньшей была та, что Моника выучилась игре на фортепиано и проявила настоящий талант.

Помимо семейных и дружеских связей, преподавание стало для меня способом продолжать жить для других; опять же, и в этом я не могла следовать обычному ритму жизни. Те, кто знаком с нервной выносливостью и выдержкой, необходимой учителю, чтобы владеть классом, легко поймут, что я не могла работать учителем в обычных условиях, и я нашла себе роль домашнего репетитора.

Я любила философию. За работу, написанную для экзамена на аттестат зрелости на тему «страдание», я получила 18,5 баллов из 20 возможных![24] Ободренная доминиканской общиной, я решилась передать эту страсть другим.

Ректор академии Версаль подготовил специальный договор с Министерством народного образования, по которому я преподавала философию ученикам, специализировавшимся в творческих областях, особенно в области музыки, и у которых была из- за специализации сокращена школьная программа, в том числе по философии. Никто из них ни разу не провалился на экзамене.

Так я нашла, неожиданным образом, способ быть полезной.

Благодаря этому меня никогда не одолевала мстительность, тоска по навсегда утерянному прошлому, горечь о недостижимом будущем, зависть к людям, могущим строить свою жизнь, как хотели, ни даже злоба против людей, сломавших мою жизнь.

Мучители лишили меня некоторых способностей, закрыли некоторые горизонты, но новые пути открылись для меня. Мой долг, как и прежде, состоял в том, чтобы наилучшим образом принять сложившиеся обстоятельства и отдать лучшее, что было во мне.

Свидетельствуя о моем опыте, я часто повторяла: я не хочу видеть в своей жизни трагедию. Кто хочет, чтобы его жалели, ничего не сможет дать. Жизнь, замкнутая на себе, не может быть плодотворной. Свидетельство ничего не стоит, если ты

представляешь саму себя. Одну страницу моей жизни я перевернула в 1944 году. Следовало написать новую. Я согласилась через столько лет рассказать о пережитом не для того, чтобы получить почетный диплом участника Сопротивления или лавровый венок за мужество. Только, чтобы помочь тем, кто проходит через туннель сомнений, увидеть пламя надежды, чтобы показать прошедшим через унижение, что прощение возможно; ибо суть моей истории в одном: в прощении палача, который снова появился в моей жизни сорок лет спустя.

Эпилог
Исцеляет только прощение

Жало в моей плоти было не таким, как я думала. Через сорок лет после войны страдание было по-прежнему моим уделом, каждый день и каждую ночь напоминая мне об ограниченности моих возможностей, но дело было не в этом.

Я перестроила свою жизнь. Я хотела через преподавание, через разные виды обязательств, принятых с течением лет, поставить на службу людям оставшиеся у меня способности. Я заново нашла возможность быть счастливой и, надеюсь, давать счастье. Во мне всегда была некая радость, которая, в отсутствие беззаботности, не утратила подлинности. Я всегда была полна жизни, всегда готова свидетельствовать о ее величии и красоте, но во мне всегда оставалось жало, о котором говорит апостол Павел. Оно мешало мне поверить, что я полностью покончила с моим прошлым.

Существовал человек, о котором я постоянно думала. Лео, чей взгляд и голос навсегда врезались в мою память и за которого я ощущала ответственность. Да, ответственность. Я ничего не была ему должна, если не считать плачевного физического состояния, но меня мучила мысль, что этот человек может умереть, запертый в зле, инструментом и соучастником которого он стал. Я хранила веру всю свою жизнь. Вернее, вера меня хранила, оберегала от отчаяния, но он, с ним что сталось? Что он сделал со своей жизнью? Как он судил свои прошлые действия? Я видела только два возможных решения: или он не раскаялся в содеянном зле и рисковал умереть в ослеплении, или в какой-то момент все осознал, и тогда он мог захлебнуться в угрызениях совести.

Мне думалось, что Лео нужно слово извне, чтобы отойти от зла и освободиться. Я имела безумие думать, что на мне лежит особая ответственность, на мне, прошедшей через его смертоносные руки.

Понятно, что с того февральского утра 1944 года я не имела о Лео никаких известий и не стремилась узнать. Читая рассказы о войне, я спрашивала себя иногда, не возникнет ли где случайно его имя, но без особой уверенности. Я постоянно поминала его в молитвах. Я верю в общение святых и была убеждена, что неведомо как для меня Господь найдет средство воздействовать на него. Я желала его спасения так же, как желала победить зло в себе, за которое сама несла ответственность, ибо нет добрых и

злых, нет жертв и палачей, святых и грешников. Есть люди, они все отмечены грехом и все могут спастись, если позволят Христу действовать в них или, по крайней мере, имеют такое стремление. С нашей, человеческой точки зрения мы строим иерархию среди людей, лестницу суждений. В глазах Бога никто не значит особенно много, или, вернее, все мы имеем бесконечную ценность в Его глазах. Отсюда наша цена: мы не стоим того, чего стоят наши заслуги, мы стоим столько, сколько любви вложил в нас Бог, в Лео, как и в меня.

Начиная с 1944 года, я постоянно испытывала огромное сострадание. Почти через полвека, готовясь к документальной съемке, я перечитала, вместе с иезуитом Мишелем Фарином Евангелие от Марка.

Повторяя слова Иисуса об Иуде, после того как тот предал Его: «Лучше бы этому человеку не родиться»[25], — я поняла, что речь здесь не о проклятии, а о сострадании. Он печалился о том, куда может зайти один из тех, кого Он избрал апостолами. Это то, что я чувствовала по отношению к Лео: печаль при виде грязи, в которую может зайти жизнь, сбившаяся с пути. Сострадание перешло в желание простить. Безумное, почти навязчивое желание, тем более безумное, что я считала невозможным его конкретизировать. Через много лет, когда это желание стало почти привычным и обыденным, я спросила себя: «Действительно ли я простила? Поистине ли?» Лео был далеко, шансов встретить его практически не было, поэтому чего стоило утверждение, что я его простила? Что от себя я в это вложила? В конце концов, немного. Вот почему встреча весной 1984 года, о которой я рассказала в начале книги, меня потрясла. При этом невероятном событии Господь поймал меня на слове. Поскольку мои пальцы больше не могли бегать по клавишам, я поняла, что прощение — это партитура, разыгрываемая в четыре руки с Господом. Без Него, без постоянного ощущения Его присутствия рядом я не вынесла бы потрясения от этой встречи через сорок лет. Но Он, Всемогущий, избрал ограниченные существа, бедных грешников, чтобы соединиться с людьми. И сегодня я ощущаю это все так же живо, и это дает мне мир и радость. Через двадцать лет после того, как я дала прощение Лео, жизнь моя близится к концу, меня покидают последние силы, но неповторимая благодать по-прежнему озаряет меня. Пусть этот свет отныне передается от сердца к сердцу. Мне же, в которой обитает вера в Того, Кто меня создал, всегда вел и сегодня ожидает у Себя, остается только прошептать молитву старца Симеона, встретившего младенца Иисуса в Иерусалимском Храме: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение

Твое, которое Ты уготовал перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк 2:29–31).

Приложение
Страсти по Марку

Как Ким Фук или Анни Магуайр, Маити Гиртаннер нашла путь, ведущий к прощению, стараясь жить духом Евангелия.

Поэтому редактор французского издания предложил читателям включенный в книгу их с Маити диалог о Страстях Христовых по Евангелию от Марка, состоявшийся в 1998 году. Большие куски этого диалога можно увидеть в фильме «Сопротивление и прощение»[26].

Обычным шрифтом даны комментарии Маити, курсивом — вопросы интервьюера, полужирным шрифтом — стихи Евангелия.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Когда настал вечер, Он приходит с двенадцатью. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю вам, один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня. Они опечалились и стали говорить ему, один за другим: не я ли? И другой: не я ли? Он же сказал им в ответ: один из двенадцати, обмакивающий со Мною в блюдо (Мк 14:17–19).

«Обмакивающий со Мною в блюдо», то есть: один из самых близких, один из друзей, которых выбрал Иисус. Как эхо, псалом 40, стих 10: «Даже человек мирный со Мною, на которого Я полагался, который ел хлеб Мой, поднял на Меня пяту».

«Они опечалились и стали говорить Ему, один за другим: не я ли? И другой: не я ли? Он же сказал им в ответ: один из двенадцати, обмакивающий со Мною в блюдо. Впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем; но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы тому человеку не родиться» (Мк 14:19–21).

«Лучше было бы тому человеку не родиться!»: тридцать-сорок лет назад я слышала в этих словах приговор. Не знаю, от старости или по благодати, но сейчас я мягче. Теперь я слышу в этих словах Иисуса слово сострадания: «Но это же ужасно, как жаль, что этот человек дошел до такого»!

Да, и вы рассказали мне, что после ареста именно этот вопрос вы задали палачу?

«Как вы до этого дошли?». Это правда. Тот, кто держал нас в плену, был очень молодым. Мне был двадцать один год, ему — двадцать шесть. Остальные пленники были намного старше. Я

была поражена тем, что такой человек оказался в роли палача. Пока я еще могла разговаривать (позже это стало невозможным), то, что мы почти ровесники, позволило мне сказать: «но как же вы дошли до такого?». Я так с ним говорила не из стремления обличить или отомстить. Это было отчаяньем и состраданием, я хотела сказать: «но это же ужасно, что из этого человека вырастили волка».

Эти слова звучат как призыв.

По ассоциации образов, у меня в голове звучит слово «разоблачение», «снятие покрова». Как если бы что-то должно было открыться и позволить правде выйти на свет Божий. Палач ничего не знает о зле, в тот момент, когда он узнает его, он делает большой шаг к правде. Тогда у него появляется возможность обратиться к некой форме раскаянья. Речь идет не о сожалениях: этого слишком мало. Раскаянье — много больше. Раскаянье — это действие, тогда как сожаление — лишь поползновение, робкая попытка.

Действительно, ведь Ваши слова не унижали его.

Я никогда не видела в этом вопросе чего-либо унизительного. Я пыталась понять и не понимала.

Наиболее несчастен вовсе не тот, о ком чаще думают.

Да, другой. Я всегда думала, что палач несчастнее своей жертвы.

Да, но это вовсе не очевидно.

Не очевидно. И это одна из причин, по которой я уже около пятидесяти лет возглашаю: «Молитесь в первую очередь о палачах, не о жертвах!». Разумеется, и жертвы нуждаются в молитве: Господь знает, до какой степени она им нужна! Но уже в двадцать лет я настаивала на сострадании: самое большое несчастье — несчастье палача. Я прожила и продолжаю жить этим, ведь я по-прежнему молюсь за своих мучителей. Когда я вижу страдающего человека, я вижу Бога, спешащего на помощь. Он так близко, что в некоторые моменты, как вспышку, в долю мгновения, можно пережить Его присутствие.

И это присутствие может ощутить и другой, тот, кто стал пленником совершаемого им убийства.

Да, может! Тот немецкий офицер, с которым я говорила (на его языке), услышал эти слова. Он был австрийского происхождения и получил католическое воспитание. Через сорок лет, когда я снова его увидела, он умирал и хотел поговорить об этом со мной. «Почему вы так сказали? Когда вы говорили о Боге, вы это имели в виду?» — спрашивал он. Эти слова держали его с тех пор, как я была у него в плену; он услышал их, несмотря на мою юность и косноязычие. Они пропитали его, как масло.

Как вы говорили выше, — как если бы его коснулось Присутствие.

УСТАНОВЛЕНИЕ ЕВХАРИСТИИ

«И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: приимите, ядите; сие есть Тело Мое. И взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все. И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием» (Мк 14:22–25).

Здесь мы проникаем в измерение жертвы. Когда мне было двадцать лет, я не формулировала это таким образом. Но мы видели, как хватали и убивали стольких наших товарищей, что в глубине души мы были убеждены в том, что они были принесены в жертву, чтобы спасти свою страну, землю предков, отчизну. Позже, когда меня наполнило более духовное чувство, — что случилось вскоре, когда я была пленницей в подвале, — я много думала о присутствии Божием. Раз я должна была умереть, и умереть без Причастия, я думала о духовном Причастии. Поскольку смерть казалась неизбежной, я очень быстро подумала об этом и поделилась этими мыслями с другими заключенными. Нас было вместе девятнадцать мужчин и женщин, обессиленных и угнетенных тем, что с нами происходило. Я была самой юной, у меня должно было быть больше сил на то, чтобы вести хоть какие-то беседы: мы должны были хотя бы разговаривать, отваживаться на слово, чтобы не сойти с ума. Я хотела говорить о Боге, но как? Я не помню теперь, какими словами, но я очень хорошо помню, что я говорила о присутствии Божием, которое может быть реальным в каждом из нас в форме духовного Причастия. Я коротко говорила с ними о том, что возможно Причастие духом, которое можно принять, даже если оно невидимо.

Все возможно Богу. Именно в тот момент мне пришли в голову слова, которые я повторяю уже пятьдесят лет: «крипта сердца». Я еще слышу, как говорила тогда, что для Бога нет ничего невозможного: Иисус Христос может прийти, если Сам того захочет, в крипту нашего сердца. В той мере, в которой мы откроемся Ему: он не будет принуждать нас, взламывать дверь. Хотим мы этого или нет, Он рядом с нами. Но Он может быть еще намного ближе: Он может быть внутри нас.

ВОЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТРЕЧЕНИИ ПЕТРА

«И воспев, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о мне в эту ночь; ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы» (Мк 14:26–27).

Эти слова Иисуса — цитата из книги пророка Захарии, где сказано: «Порази пастыря, и рассеются овцы!» (Зах 13:7). «День тьмы и мрака, день облачный и туманный» (Иоил 2:2). Nacht und Nebel: ночь и туман, эти два немецких слова были названием программы лагерей уничтожения. А тут речь идет о приготовлении к «уничтожению» Иисуса. Трое учеников ничего не осознают: они проснутся в ночи и тумане. Иисус тоже, если можно так сказать, лишен опоры: Он знает, что умрет. Он не может больше искать утешения в уединенной молитве, не может быть в покое наедине со Своим Отцом. Он молится, но в ночи.

В ГЕФСИМАНИИ

«Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал ученикам Своим: посидите здесь, пока Я помолюсь. И взял с Собой Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте» (Мк 14:32–34).

Мы переживали моменты почти что отчаянья. Когда арестовывали наших товарищей или когда крестьяне, которые нам помогали, по нашей вине оказывались в опасности, — это было настоящей катастрофой. Мы жили в страхе и глубокой скорби. Я говорю «почти что отчаянья», но оно никогда не было полным: ведь мы делали важное дело, и конец должен был быть славным. Факты это доказали. Я могла не дожить, не увидеть итога, но я выжила. Когда в 1943 году меня схватили, все те, кто до этого были со мной, уже ушли. Я оставалась одна. И тогда мы действительно пережили страшные вещи.

«и говорил: Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты» (Мк 14:36).

Когда Иисус говорит Отцу: «не чего Я хочу, а чего Ты», Он принимает решение. Он понял, что должен предать в руки Отца события так, как они должны происходить. Час Его пришел. Он понимал, что уже давно кольцо вокруг Него сужается. Теперь тиски сомкнулись, Он схвачен. Приближение этого ощущается.

И я также пережила это. В 1943 году, за много месяцев до ареста, я почувствовала, что меня арестуют. Я не знала, когда, но большинство друзей уже были в застенках, была большая чистка:

в гестапо поняли, как работают ячейки Сопротивления. Они всюду «отрубили головы», арестовали лидеров. А те, кто выжил, чувствовали то же, что и я: выход из ловушки все уже. Хотя никто не знал, каким образом и когда нас арестуют. С Иисусом происходит то же самое: все, Он внутри, Он схвачен. И «да сбудутся Писания» (Мк 14:49). Так начинается четвертая песнь страждущего раба в книге пророка Исайи: «Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, (смотря) на Тебя, — столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его — паче сынов человеческих!» (Ис 52:13–14).

ИИСУС ПЕРЕД ПИЛАТОМ

«Пилат спросил Его: Ты царь Иудейский? Он же сказал ему в ответ: ты говоришь. И первосвященники обвиняли Его во многом. Пилат же опять спросил Его: Ты ничего не отвечаешь? видишь, как много против Тебя обвинений. Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился» (Мк 15:2–5).

Это молчание, с одной стороны, связано с противоречивостью свидетельств, которые не позволяли прийти к правде, а с другой — с тем, что Иисус не хочет оправдываться. Это молчание — царственное молчание.

Да, *вы рассказывали о том, что иногда хранили молчание, полное достоинства, подобное этому.*

Здесь мы чувствуем нападение сил зла и ненависти, которые может преодолеть только сила Отца. Здесь Иисус снова открывает тот путь, по которому каждый из нас, по благодати, и в ту меру, в которую позволяет наша жизнь, призван следовать.

«Пилат сказал им в ответ: хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? Ибо знал, что первосвященники предали Его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву» (Мк 15: 9-11).

Первосвященники испугались этого Человека, которого они представляли себе как реформатора по отношению к тому, что они проповедовали и провозглашали. Кроме того, Иисус, как Мессия, шел к бедным, к отверженным, к угнетенным. В отличие от Синедриона, он нес Благую Весть до самых крайних пределов. Вот почему такая зависть: «Ему удается коснуться людей, которых наша проповедь никогда не могла тронуть».

Да, это центральная фраза в суде над Иисусом. Пилат в этот момент понимает, что его решение будет ложным, оно не

совпадает с его чувствами. Мало того, что священники завидуют власти Иисуса, они завидуют также духу, который пребывает в Нем.

Да, они завидуют Его выбору, Его пути Мессии, Его творящей свободе.

Немцы позавидовали тому, что вы смогли обхитрить их: двадцатилетняя девушка, которая использует виртуозную игру на фортепиано в качестве «камуфляжа»! Они позавидовали свободе, которой у них и быть не могло. Их делает несвободными чувство всемогущества. В конце концов — именно это самое невыносимое в Боге — Его человечность: если я не могу играть на фортепиано, я уничтожу пианистку.

Да. Им были предписаны определенные границы, которые Иисус царственно преступил как Сын Божий — для того, чтобы пойти к другим, ко всем остальным. Эти иные, не входившие в синедрион, книжники и фарисеи не задумывались о них. Иисус стал для человеков вне закона. Есть огромная разница между военнопленным и участником Сопротивления. Эта разница видна по названиям: немцы не называли нас участниками Сопротивления, они звали нас террористами.

«Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие» (Мк 15:15).

Пилат приказал наказать Иисуса бичеванием. На самом деле, он совершает лишь небольшой, очень небольшой поступок. Да, конечно, бичевание было суровым наказанием: это были кожаные ремни. Или палочные удары — то, что мы ощутили на себе в дни Сопротивления. Как правило, участников Сопротивления добивали серией палочных ударов, били действительно насмерть.

Но, столкнувшись со всем этим, вы никогда не испытывали ненависти?

Нет. Я сознавала, что сама свободно выбрала этот путь и что на этом пути меня ждет смертельная опасность.

Я осознавала степень риска постепенно, но с самого начала я знала, что, возможно, смерть близко. Я не знала, какая смерть. Только когда наших товарищей стали арестовывать, мы начали постепенно узнавать, какие формы может принимать смерть.

Наша тревога и страх возрастали, но не останавливали нас. Мы не ощущали ни малейшей ненависти: таковы были правила игры. С одной стороны были мы, участники Сопротивления, с другой — враг. Цель игры — победить врага. Это было в порядке вещей: если мы попадались, мы должны были умереть.

ВЕНЧАНИЕ ТЕРНОВЫМ ВЕНЦОМ

«А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели Его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на Него; и начали приветствовать Его: радуйся, Царь Иудейский! И били Его по голове тростью, и плевали на Него, и, становясь на колени, кланялись Ему. Когда же насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, одели Его в собственные одежды Его и новели Его, чтобы распять Его» (Мк 15:16–20).

Почему палачи всегда стремятся затронуть честь человека, не только его тело? Это ведь простые солдаты, а вытворяют такое…

Да, именно так. И мы много раз видели подобное.

А вы, в том, что вы пережили, ощутили ли вы то же унижение человеческого достоинства?

Да, разрушение достоинства… во многом разрушение гордости молодой женщины, девушки, которая оказалась там не просто так, а восстала против немецкой мощи. По сути, это и было целью Сопротивления: препятствовать тому, что немцы делают против Франции, пытаться помешать их планам. Поэтому они постоянно стремились унизить нас, причем не только унизить, но и внушить, что наше сопротивление все равно ничему не послужило, что это было просто смешно и что это была потеря времени и потерянная жизнь. Доказательство? Они говорили, что моя жизнь здесь и закончится. Огромную боль причиняла мысль о том, что, при полном поражении, мы так пострадали, чтобы достичь того, чего мы достигли, чтобы сделать то или это, спасти того или иного друга. Иногда это было совсем невыносимо — когда в течение целого дня, во время побоев, тебе повторяют, что твои действия не имели ни малейшего смысла, что у тебя ничего не вышло, ты ничего не добилась.

Что Ваши действия были бессмысленны?

Да, бессмысленны, это было безрассудно, глупая игра, они даже говорили: «глупая и смертельная игра».

Почему же они так обращались с вами, если они даже не стремились ничего узнать, допрос не был главной целью?

Отчасти все-таки стремились. Но главным было наказание.

Здесь мы касаемся чего-то иного, это ведь стремление разрушить смысл существования.

Их цель: сделать тебя сумасшедшим, невменяемым, полностью психологически разрушить человека, чтобы он от внешней устойчивости перешел к полному отсутствию душевного равновесия. Они никогда не радовались так, как когда им удавалось довести до безумия человека, попавшего в их лапы. Их насилие состояло не только в побоях, в унижающих,

разрушающих преступных действиях, но также и в жестоких словах. Все это происходило не в молчании, вовсе нет. Они много говорили: то один, то другой кидал в нас фразами, как дротиками, они сыпались со всех сторон. И это никогда не был один человек, они собирались вместе на одного и перекидывались фразами, как мячиком, метали в меня и в других словесные копья. Каждый раз эти слова царапали, а иногда и глубоко ранили.

РАСПЯТИЕ

«Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий, кому что взять» (Мк 15:24).

Это просто ремарка. По обычаю, солдаты делили между собой вещи осужденных. Также поступили и с Иисусом, разница состояла только в том, что у Него отняли все, даже одежду. В лагерях, как правило, тех, кого собирались пытать, тоже лишали всего, вплоть до одежды.

Это было дополнительным унижением, оказаться нагим было чудовищно унизительно. В некотором смысле, ты теряешь идентичность: становишься никем, ничем.

Палачи хорошо знали, что этот метод наносит серьезный вред тем, с кем они имели дело. Например, когда они допрашивали участников Сопротивления, чтобы получить важные сведения, и им было необходимо максимально их унизить, чтобы они «раскололись», в первую очередь пленников раздевали донага, и мужчин, и женщин.

СМЕРТЬ ИИСУСА

«В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои! Элои! Ламма савахфани? — что значит: Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты меня оставил? Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: вот, Илию зовет. А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить, говоря: постойте, посмотрим, придет ли Илия снять Его» (Мк 15:33–36).

В крайней степени физической, психологической и умственной нищеты Иисус являет нам чистую веру. Тот путь, который Он делает видимым для нас, — часть Его Откровения, Откровения о том, кто Он. Он может быть бедным до полного

обнищания, но не погружается в безверие.

Вы это испытали: находиться в аду, но не терять веру.

И не один раз. Я даже могу сказать, что это что-то привычное для меня: так бывает несколько раз в год. Каждый раз, когда меня накрывает волна сильного страдания, я падаю в пропасть — не отчаяния, но такой скорби, что там действительно только пустота, одиночество, тьма.

Меня ничего не достигает больше; я не знаю, есть ли люди вокруг, я ничего больше не осознаю. Но при этом никогда не бывает полной темноты, черноты. Остается как бы маленькая светящаяся точка, величиной с булавочную головку, я всегда ее замечаю.

Быть может, Господь хочет сказать мне, что за пределами этой тьмы есть что-то, что мне нужно искать и найти? Но я не могу выйти из темноты сама: мои усилия похожи на движения тонущего пловца. В той мере, в которой я в подобные минуты способна мыслить — и мне это удается, по слову в полчаса, ценой громадных усилий, с помощью опыта, — мне удается постепенно выбраться на поверхность. Но единственный способ выйти из глубины скорби, где больше ничто не имеет смысла, — это присутствие. Присутствие близкого человека, который может прийти ко мне и держать за руку, как держат за руку умирающего. Связь восстанавливается тогда, когда мне кажется, что я полностью отрезана от всего. В такие минуты не понимаешь, существует ли что-то, кроме меня и моей боли! Таков мой опыт…

Но в дни Крестных Страданий никто не протянул руку Иисусу.

В том, о чем вы рассказываете, чудо — что вы ни на кого не держали зла.

Это правда так.

Это чудо.

Это дар. Но и в том, что мне даровано, есть некоторая логика. Когда я вошла в Сопротивление, я осознавала, что делаю опасные вещи. Я не ждала, что меня за них будут гладить по головке. Все было бы иначе, если бы, например, вы бы сейчас на меня напали: здесь нет логики. Тогда логика была одна: перед нами был враг.

Но тогда вы могли бы злиться на саму себя?

За то, что я поставила себя в это положение?! Нет, я никогда об этом не думала, вы сейчас впервые навели меня на эту мысль, пятьдесят два или пятьдесят три года спустя. Нет, никогда, я сжимала зубы и продолжала, это было все, что мне оставалось.

Это внутренний мир.

А также сознание, дарованное мне благодатью, что есть миссия, которую я должна выполнить, сколь бы малой она ни

была. Даже если эта миссия была муравьиной, в сравнении с катастрофой, в которой находилась в то время Франция, раздавленная, оккупированная.

(Указывая на главу Евангелия). Но каждого муравья касается эта ночь.

Да, каждого муравья касается эта ночь. И есть более выносливые муравьи, которые выживают, чтобы говорить об этом десятки лет спустя.

На Бога вы тоже не обижались?

Нет, вовсе нет! Я даже об этом не подумала.

«Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты меня оставил?» (Мк 15:34).

Эти слова входят в необъяснимое и безумное целое, которое мы все равно переживаем.

Потому что в этих словах нет требования или протеста?

Да, конечно, это просто констатация, в которой нет ни отчаяния, ни неверия. Это глубокая скорбь: горе Сына, который не может найти Отца тогда, когда так сильно в Нем нуждается.

Когда нас арестовали и дела наши были совсем плохи, это то, что я пыталась прожить, — минуту за минутой, час за часом, — говоря себе, что и это уже хорошо. Если бы я думала о будущем (я запрещала себе это), я бы точно не выдержала, потому что меня одновременно мучило бы и настоящее, и грядущее.

Часто обращают внимание на то, что Он продолжает говорить «Боже Мой».

Да: «Мой». Это правда. Но при этом, Он так близок к нам в слове «оставил». Он един со всеми теми, кто чувствует себя покинутым, с теми, кого действительно бросили. Он берет на Себя всю оставленность в нашем мире, все одиночества, даже самые страшные.

«Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив Его, увидев, что Он, так возгласив, испустил дух, сказал: истинно Человек Сей был Сын Божий» (Мк 15:37–39).

В одно время с этим криком раздирается церковная завеса.

Иисуса распяли на открытом месте. Все могли видеть это: говорят, что Голгофа была очень людным местом. Когда раздирается завеса в храме, и язычники могут увидеть тайное. Раньше за нее мог заходить только первосвященник. Эта рвущаяся завеса потрясает. Через весь рассказ о Страстях Господних, о смерти и о Воскресении проходит тема раскрытия. Тем более, что закрытость — символ греха. Это грех взрывается и разрушается. Значение разорванной завесы — Иисус целиком приносит Себя в дар. Он достиг своей цели: все могут достичь Бога, путь открыт.

«Сотник, стоявший напротив Его, увидев, что Он, так возгласив, испустил дух, сказал: истинно Человек Сей был Сын Божий» (Мк 15:39).

Важный знак, что первый вошедший — римский сотник. То есть — главный палач.

Да, именно так. Сотник стоит на нужном месте, ведь он все воспринимал с противоположной точки зрения. Он видел все зло, которое сделали Иисусу, слышал и, возможно, участвовал в издевательствах и бичевании. К тому же, будучи римлянином, он вряд ли любил евреев. У этого палача было все, чтобы не верить в Иисуса, чтобы не видеть в нем праведника, но на него снизошла благодать, и крик Иисуса коснулся его со всей силой. Так хочется узнать, что с ним стало потом…

«По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятаго; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись» (Мк 16:1–8).

Испытали ли вы трепет, когда внезапно внутри родилось прощение?

Да, когда я осознала, что простила человека, который пришел ко мне сорок лет спустя. Да, я чувствовала трепет и почти оцепенение от того, что я получила реальное подтверждение — ведь я так стремилась к этому прощению.

С самого начала я хотела простить его, я молилась о нем, носила его в сердце. Но как можно узнать, простили ли мы кого-то? Это невозможно проверить. Сколько раз я говорила себе: «Действительно ли я простила этого человека? Мне кажется, что да, но уверена ли я?». Во мне всегда оставался этот вопросительный знак: я доверяла Господу, но у меня не было уверенности.

Против всех ожиданий, сорок лет спустя я снова его увидела. Почему он пришел? Потому что умирает. Бессознательно он пришел за прощением. Когда мы прощались, вместо того, чтобы расстаться, просто пожав друг другу руки, я обняла его. В этот

момент он попросил у меня прощения. И в этот момент я обрела полную уверенность в том, что простила.

В течение нескольких дней я пребывала в потрясении от обретенной благодати — доказательства того, что я простила. Случилось невозможное, я не переставала изумляться этому.

Сегодня, когда я анализирую разные грани прощения, я осознаю, что подлинное прощение — это не забвение, а отсутствие обиды и озлобленности.

(Указывая на Новый Завет). Разве не об этом говорится в этой книге?

Женщины испуганы, потому что случившееся превосходит их понимание. Все, что относится к Божественному устроению, во много раз превосходит человеческую способность понимать, разбивает все наши схемы. В этом рассказе слышна тревога, почтение и, да, страх. Евангелие говорит о страхе и трепете, ведь женщины почти окаменели.

Вы говорите о том, как женщины были ошеломлены этим событием, как они поразились, у видев большой камень, который закрывал гроб и который никто не мог сдвинуть.

Да, я была поражена. Говоря в духовном плане о том, что творилось внутри меня, я не могла после этого оставаться такой, какой была прежде. Что-то происходит… и что-то уходит. Я ведь могла всю жизнь так прожить, спрашивая: «Господь, то прощение, что я так хочу подарить Лео, я его дала?», а он сам пришел просить прощения. Если кто-то приходит просить прощения, значит, Кто-то его привел. Господь приходит за самыми страшными преступниками. Этот жест, от которого я не могла удержаться — когда я протянула к нему руки, чтобы обнять, — я этого сама не ожидала, это не было искусственным — он родился изнутри меня. Я не могла действовать иначе. Это движение могло показаться импульсивным. Но оно родилось во мне, когда этот человек произносил последние слова, перед тем как уйти. Этого движения не могло не быть.

О переводчике

Мария Валентиновна Шмаина, урожденная Житомирская, родилась 31-го мая 1933 года в московской интеллигентной семье. В четырнадцать лет Маша Житомирская познакомилась со своим будущим мужем, семнадцатилетним Ильей Шмаиным и вошла в круг друзей, ставший известным многим в среде московской интеллигенции как «кружок Кузьмы». В январе 1949 года все члены кружка Кузьмы были арестованы. Одна Маша Житомирская осталась на свободе как не достигшая шестнадцати лет. Она посылала своим друзьям посылки в лагеря и постоянно переписывалась с женихом Ильей, а после смерти Сталина съездила к нему на свидание в Вятлаг.

Тем временем, в июне 1951 года Мария Житомирская закончила женскую среднюю школу-десятилетку № 29 в г. Москве и в июле 1952 года поступила на заочное отделение исторического факультета МГУ со специализацией по археологии. В комсомол не вступала. В 1959 году закончила это отделение по специальности «археология» (ее дипломная работа содержала не устаревшее до сего дня открытие в области славянских древностей) и поступила на работу в Институт археологии.

В октябре 1954 года Илья Шмаин и его друзья были реабилитированы и вышли на свободу. В конце декабря 1954 года Мария Житомирская вышла замуж за Илью Шмаина, который

поступил на заочное отделение мехмата МГУ и работал на заводе.

В течение шестидесятых — семидесятых годов Мария Валентиновна постоянно реферировала и переводила богословскую и философскую литературу по заказам ИНИОН АН СССР и Издательского отдела Московской Патриархии и совместно с мужем подпольно занималась проповедью Евангелия, в частности они вели на дому христианский богословский семинар.

В октябре 1975 года семья Шмаиных эмигрировала в Израиль и поселилась в Иерусалиме. С 1976 по 1986 год Мария Валентиновна работала в Музее археологии в Иерусалиме реставратором керамики. Вместе с мужем пыталась создать христианскую общину в Израиле, но эти попытки не увенчались успехом. В 1980 году Илья Шмаин был рукоположен в священника. Это вызвало такие трудности в жизни семьи Шмаиных, что они были вынуждены переехать во Францию. В 1990 году отец Илья стал настоятелем храма Успения Божьей Матери на русском кладбище Сен-Женевьев дю Буа под Парижем. Там матушка Мария и отец Илья жили вплоть до возвращения в Россию.

Помогая отцу Илье в его трудах по окормлению паствы и приему посетителей из России, матушка Мария все же находила время для занятий переводами.

В июне 1997 года матушка Мария с мужем, протоиереем Ильей Шмаиным вернулись в Россию, в Москву.

После смерти отца Ильи матушка Мария живет в Москве вместе с семьей старшей дочери, время от времени переводит историческую или богословскую литературу (в том числе проповеди и беседы митрополита Антония Сурожского) с французского и английского языков и выступает перед заинтересованной молодежью с рассказами об эпохе христианского возрождения в России.

Иллюстрации

В глубине снимка видно, что Вьенна делает изгиб. Это было самое удобное место, чтобы пересечь демаркационную линию.

Маити в 1942 году, за несколько месяцев до ареста.

Маити во Вье Ложи после войны.

Маити после войны с солдатом, которому помогла.

Семейная фотография: Маити и ее брат Франсис.

Маити и ее дед, Поль Руньон, профессор Парижской консерватории.

Вье Ложи, дом XVII века, построенный на берегу Вьенны.

Маити — маленькая девочка, уже серьезная и решительная.

Маити за фортепиано с дедом.

Мост, который разрезал деревню Бон надвое во время Второй

мировой войны.

notes

Примечания

1

Жан Ванье — известный канадский и французский философ, богослов, проповедник, основатель общин-поселений для умственно отсталых людей, называемых «Ковчег», а также движения «Вера и Свет» — общин, в которые входят особые люди, их родители и их друзья.

2

ИРА (Ирландская республиканская армия) — ирландская сепаратистская террористическая организация, целью которой является достижение полной независимости Северной Ирландии от Соединенного Королевства, в том числе — и главным образом — воссоединение Северной Ирландии (части Ольстера, одной из пяти провинций Ирландии) с Республикой Ирландией. — *Прим. ред.*

3

Место паломничества во Франции, где были явления Богоматери. — *Прим. ред.*

4

Guillemette de Sairigné, «Milles pardons. Des histoires vécues. Une exigence universelle», Robert Lafont, Paris, 2006.

5

Маити Гиртаннер родилась в Швейцарии 15 марта 1922 года; умерла в 2014 году.

Гийом Табар — заместитель главного редактора политического отдела газеты «Фигаро».

6

Речь идет не о дезертирах, а о французских солдатах, бежавших с оккупированной немцами территории Франции на сторону Сопротивления. — *Прим. ред.*

Мф. 26:39.

8

Мф. 10:19.

9

В ходе мессы есть момент, который называется «Поцелуй мира»: верующие обнимают друг друга или пожимают друг другу руки, произнося «Мир Христов». — *Прим. ред*.

10

Аппликатура — способ переборки пальцев на музыкальном инструменте; расстановка, постановка пальцев. Также обозначение этой расстановки в нотах с помощью цифр или иным способом.

11

Народный фронт (Front populaire) — объединенные левые партии Франции, которые были у власти с 1936 по 1938 г. Первое социалистическое правительство Франции времен Третьей республики. Благодаря Народному фронту во Франции ввели оплачиваемые отпуска и 40-часовую рабочую неделю. — *Прим. ред*.

12

«Огненные кресты» или «Боевые кресты» — военизированная фашистская организация во Франции между двумя мировыми войнами.

13

Аншлюс — включение Австрии в состав Германии, состоявшееся 12–13 марта 1938 года. — *Прим. ред*.

14

Во французском языке слово «drôle» означает и забавный, смешной, и — странный. Речь идет о периоде с 3 сентября 1939 по 10 мая 1940 г. на Западном фронте. Также его называют «сидячая война», а американские журналисты называли его «фальшивой, ненастоящей войной». В этот период во Франции военные действия фактически не велись. — *Прим. ред*.

15

Что вам угодно? (*нем.*)

16

Донжон — главная башня в европейских феодальных замках.

17

В современном французском это уничижительное обозначение националистов, но во время войны так иногда называли себя члены Сопротивления. — *Прим ред*.

18

В то время — французская колония во Вьетнаме. — *Прим. ред.*

19

Межсоюзнический клуб объединял политиков, адвокатов, дипломатов, крупных коммерсантов. Он был основан в 1917 г., чтобы морально и материально поддерживать солдат, офицеров и политических представителей стран Антанты — Тройного Союза (России, Англии, Франции). После окончания Первой мировой войны клуб не распался, а продолжал служить делу объединения народов. — *Прим. ред*.

20

Анри Оноре Жиро (1879–1949) — французский военачальник, генерал, участник двух мировых войн. Будучи одним из видных военных деятелей режима Виши, вел тайные переговоры с союзниками, был сопредседателем Французского комитета национального освобождения (наряду с де Голлем). Роль Жиро во Второй мировой войне вызывает противоречивые оценки у современных историков.

21

Мф 5:44–47.

22

См. Ин 21:15–18.

23

Крупные католические монашеские ордена часто состоят из мужской и женской ветви, а также так называемых терциариев. Это люди, живущие в миру, но частично следующие уставу ордена. В них могут также существовать подгруппы. Например «братство больных» в доминиканском ордене объединяет терциариев, которым болезнь не позволяет полностью следовать уставу третьего ордена, для них существует облегченный устав. — *Прим. ред.*

24

В отличие от России, во Франции получить «пятерку» в аттестат зрелости почти невозможно. — *Прим. ред.*

25

См. Мф 26:24 или Мк 14:21.

Фильм, снятый французским католическим телевидением в 2005 г. (Résistance et pardon).

Эта книга являет трудный путь к прощению, которое приходит к нам, если мы стремимся к нему всем сердцем и если мы соглашаемся быть уязвимыми, хрупкими, и позволяем Святому Духу преображать наши сердца. Только путем возрастания в прощении наши семьи, наши страны, все человечество — смогут двигаться к миру. Может быть, мы не так много можем сделать на военном и политическом уровне, но то, что мы можем делать — это любить тех, кто замкнулся в себе, кто отчужден от нас в семье, на работе и где бы то ни было, встречаться с ними и вместе входить в примирение и прощение. Каждый человек обретает надежду на мир по мере того, как мы все вместе стараемся любить людей так, как это заповедал нам Христос. И мы можем молиться за других, чтобы их и наши сердца могли измениться.

ISBN 978-5-901293-11-9
Гиртаннер М. И у пал
2 000000 871752
ЕЛЦ "Слово" 370.00
9 785901 293119